



Александр Мейлахс Красный Сион

Земля обетованная. Красный Сион. Первое в мире еврейское государство, основанное в 1934 году, оказывается, существует до сих пор! Евреи всего мира стремились попасть сюда еще до Второй мировой войны, евреи Европы могли спастись здесь от Холокоста. Не спаслись...

По площади больше многих европейских стран. Здесь все – как мечтали отцы-основатели сионизма: свои герои и трусы, свои полицейские, воры и проститутки, палачи и жертвы, поэты, мечтатели и политиканы. Здесь рождаются, любят, умирают и помнят об умерших. Здесь делают еврейскую историю. Здесь – на границе России и Китая, в бескрайней приамурской тайге. Книга основана на реальных событиях, имена некоторых персонажей изменены.

*Пишущий эти строки, конечно, далеко не Шекспир и даже не Ростан,
но он готов мысленно плюнуть в лицо тому, кто скажет,
что в наш век уже нет судеб, достойных их пера!*

I

Бенцион Шамир далеко не сразу признал свое поражение – признал, что он, классик израильской прозы и драматургии, не может найти нужных слов, чтоб хотя бы начать такую бесхитростную работу, как написание воспоминаний о своей же собственной жизни. Для того мира, каким он представал маленькому Бенци в первые его годы на земле, никаких слов и не требовалось – все вокруг было не просто единственным в своем роде, но даже единственно возможным. Единственно возможный Папа, единственно возможная Мама, единственно возможные сестры – смешливая Фаня и задумчивая Рахиль, единственно возможный брат Шимон, носивший за свое бесстрашие единственно возможное прозвище Казак, единственно возможный дом с коричневым овальным столом под переливающейся хрустальной люстрой, хрустальными книжными шкафами и черным резным комодом, на котором вечно поблескивали бронзовые подсвечники на шестиконечных звездах, образованных наложением двух треугольников. Шестиконечные звезды назывались моговидами и означали, что когда-нибудь Папа, Мама, Фаня, Рахиль, Шимон и Бенци отправятся на свою древнюю родину к какому-то сказочному Сио...

А вот и нет, Сион не излучал никакой сказочности – Папа всегда говорил о будущем переезде в Палестину, в Эрец Исраэль, так же буднично, как если бы речь шла о переезде на новую квартиру в городе столь же обыкновенном, как какая-нибудь Вена, Прага, Париж, где Папа и Мама когда-то жили и учились, – интересных, но уже, конечно, не таких единственно возможных, как их миленький Билограй, Билограйчик – не большой, не маленький, а именно единственно возможный. И обращенный к младшему любимому сынишке всеми почитаемого доктора самым дружелюбным из всех своих лиц – освещавшихся при виде маленького Бенци почти такой же приязнью и надеждой, как и при лицезрении выдавшего виды кожаного докторского саквояжика (одни взирали на саквояжик с надеждой, что он им поможет, другие – что он им не понадобится), приязнью и надеждой, немедленно порождавших страстное желание угостить воспитанного мальчугана в коротеньких штанишках и с бантиком на шее каким-нибудь заветным лакомством, вроде селедочки с луком, а то и фрикаделек из мацы, жаренных с яйцом на каком-то особенном пахучем масле, какого дома было не допроситься у кухарки.

В последнее время в разговорах об отъезде зазвучали, правда почему-то вполголоса, и другие страны – Америка, Канада, даже Австралия, но что-то неприятно е было с ними связано, все время всплывало какое-то тревожное слово: виза, виза, виза, виза...

Как все дети, Бенци, в ту неправдоподобную пору еще не Шамир, а всего лишь Давидан, тянулся не к комфорту, а к дружелюбию, не к рассудительности, а к экстравагантности и потому постоянно забредал от центральных домов Билограя к окраинным домам и домикам у безымянной речушки, впоследствии ненадолго обретшей имя лишь благодаря упоминанию в приложениях к пакту Молотова – Риббентропа. И что из того, что сегодня Бенцион Шамир назвал бы билограйские дома, даже с красными черепичными крышами, домиками, а домики, крытые серой дранкой, – хибарами! Что из того, что стоячая речушка больше походила на канаву, затянутую бьющей в глаза среди сизой золы импровизированных помоек зеленью ряски, которую с неиссякаемым аппетитом поглощали утки, стучащие плоскими клювами, словно швейные машинки в прибрежных домишках. Все эти домики и домишки с самодельной лоснящейся мебелью, намного более интересной, чем домашняя покупная, – все это было первое и единственное, а потому лучшее в мире. Не считая, конечно, расцветающего за невидимыми пашнями и заводами Страны Советов сказочного Красного Сиона, чье настоящее имя загадочный друг маленького Бенци сапожник Берл и сам каждый раз выговаривал немного по-новому – то Берибиджан, то Борибиджан, – чтобы спохватиться и настойчиво пригвоздить по складам: Би-ро-би-джан. Каморка Берла была особенно уютна после холодноватой просторности докторского дома – она была битком набита через много что прошедшими башмаками и сапогами, самодельными, полусъеденными ножиками, обретшими новую жизнь баночками, замысловатыми обрезками кожи, деревянными человеческими ступнями, – в самом же центре восставала из чурбака перевернутая чугунная нога, на которую Берл насаживал очередной башмак и, сгорбившись, самозабвенно вколачивал в его подметку и каблук гвоздик за гвоздиком, выхватывая их изо рта, словно жевал какую-то нескончаемую костлявую рыбу.

– Твой папа хороший человек, настоящий буржуй никогда бы не поехал из Варшавы в такую дыру, – добив очередную жертву, отирал руки Берл о свой кожаный передник, такой же желтый и растрескавшийся, как Папин саквояж, и с наслаждением распрямлялся.

И тут обнаруживалось, что он горбат, горбат, как его нос крючком – самым настоящим крючком, за который, будь Берл куклой, его можно было бы уверенно зацепить и подвесить хотя бы и за краешек его некрашеного стола.

– Твой папа очень хороший человек, с бедных евреев он старается ничего не брать. А для настоящего буржуа что еврей, что татарин, – повторял Берл после приличествующей паузы, отдающей должное душевным качествам Бенциного папы. – Я видел его отца – настоящий варшавский космополит. Его дом там, где хорошо его семье. Твой папа другой, ему нужен дом не только для своих детей, но и для всех евреев. Как и мне. Но мне легче, у меня нет детей, есть только братья. Все бедные люди всех народов братья.

– А почему ты тогда с ними все время ругаешься? – любопытствовал Бенци и получал гневный ответ: – Потому что они никак не хотят понять, что все мы братья. И у нас есть общий отец – товарищ Сталин! Он для нас такой же добрый, как для тебя твой папа. И все-таки как друг я должен открыть тебе глаза: твой папа находится в плену буржуазных предрассудков. – Берл разводил руками, пронзительно кося из-под начесанных на черные глаза косматых бровей, тоже черных, как сапожная вакса, несмотря на заметную примесь серебра.

Дальнейшее Бенци мог бы свободно излагать и сам: сионисты не понимают, что никакого единого еврейского народа нет, нет никакой единой Земли обетованной – все это буржуазная пропаганда, у трудящихся и у эксплуататоров разные родины, и родина еврейских трудящихся лежит не на Ближнем, а на Дальнем Востоке: там у самого Тихого океана, на самом краешке Страны Советов строится настоящий, пролетарский Красный Сион.

Там никто не попрекнет еврея тем, что он еврей, там люди всех национальностей живут по-братски и даже имеют право отделиться в самостоятельное государство, только это никому не нужно, потому что буржуев там нет, а пролетариям всех стран делить совершенно нечего.

– Зачем же тогда и устраивать какое-то специальное еврейское государство, если всем и так хорошо? – спрашивал подававший большие надежды маленький Бенци и получал прочувствованный ответ из-под загнутого носа: – А это похоже на то, как люди живут одной семьей, но каждый в своей комнате. В одной комнате говорят по-русски, в другой – по-еврейски, в третьей – по-татарски... Кому нравится жить среди евреев, говорить по-еврейски, петь еврейские песни – пожалуйста! А кому нравится жить среди татар – пожалуйста, пускай идет к татарам. Есть евреи, которые становятся русскими, а есть русские, которые становятся евреями, – попадешь в Бери... в Бори... в Биробиджан – сам увидишь!

Все это были не пустые фантазии. Какими-то опасными таинственными путями Берл получал регулярные весточки из тихоокеанского Красного Сиона.

– Только никому! Слышишь – даже папе! Если узнают эти фашисты, пилсудчики – все, конец! Пытки, тюрьма!

Берл прижимал к голубым змеящимся губам черный кривой палец, с заговорщицкими ужимками, которым чрезвычайно шел его горб, запирает дверь, специальной тряпкой завешивал маленькое тусклое стекло без переплета и зажигал керосиновую лампу. Затем, горбясь еще сильнее, проворно шаркал к завешенному окошку: там на узеньком подоконничке теснилось деревянное корытце с землей, из которой торчали табачные стебли пересохшего укропа.

– Богатые выращивают розы, а мы укроп! – с сатанинской ухмылкой провозглашал горбун и, забрав в жменю потрескивающие стебли, извлекал их из корытца вместе с окаменелой землей.

На дне корытца под старенькой клеенкой плющились распадающиеся газеты и брошюры. Берл натягивал очки без дужек, зааркавив двумя бечевочками свои хрящеватые уши, и благоговейно раскрывал ворсистую тетрадопку, сизую, как зола у билограйской речушки, и показывал ряды каких-то серых затылков, размытых туманом сказочности; невидимые лица были обращены в сторону такого же смазанного старичка с узенькой бородкой: видишь, почтительно тыкал в него Берл, это Калинин зачитывает декларацию об открытии Еврейской автономной области – у сионистов декларация Бальфура, а у нас декларация Калинина, это второй человек после Сталина, видишь, рабочий, а бородка, как у адвоката, там на это не смотрят – пожалуйста! Сталин – грузин, сын сапожника, Калинин – русский, сын крестьянина, Каганович – еврей, сын такого же голодранца, как я, а все – советские люди! Читай, читай, все люди должны выучить русский язык за то, что им разговаривал Ленин!

Смышленный Бенци уже и впрямь тоже неплохо читал по-русски, но то ли еще ожидало их впереди:

русский язык скоро должен был сделаться языком объединившихся пролетариев всех стран, Калинин уже сейчас поверх серых голов обращался прямо к ним. Читай, читай, тербил Берл Бенчика, однако тут же его перебивал, начинал читать сам – уже практически наизусть, все громче и громче, забывая, что под дверью могут подслушивать пилсудчики.

– Видишь, видишь, писатель Бергельсон спрашивает, какую помощь Биробиджану могут оказать еврейские рабочие капиталистических стран, это прямо про нас!

Однако Калинин на границу больших надежд, похоже, не возлагал: евреи из-за границы могли бы разве что присоединиться к советским евреям из маленьких городков и местечек, а то в больших городах евреи за мировыми пролетарскими интересами быстро забывают о еврейских.

– Но лет через десять Бори... Бери... Биробиджан будет важнейшим, если не единственным, хранителем еврейской социалистической национальной культуры!

Наверняка сам Калинин произносил свое пророчество далеко не так торжественно, как Берл, всегда в этом месте поднимавший к низенькому потолку свой тоже горбатый пропитанный ваксой палец.

– Значит, в сорок четвертом году – в Бери... Бори... в Биробиджане, всемирной столице трудящегося еврейства!

Берл впадал в транс и читал уже окончательно на память, раскачиваясь, будто за чтением Торы.

Пусть негодные уходят, не всякий способен из местечкового, физически истрепанного человека превратиться в отважного, стойкого «колонизатора». Надо для этого переродиться. А что перерождает? Перерождает суровая, почти первобытная, природа области и большой творческий труд, который отсталому, слабому человеку не по плечам. Человек должен там быть крепким – он должен уметь сопротивляться и добровольно сносить большие трудности. Если остающееся первое поколение «колонизаторов» выдержит, то второе поколение будет крепкое. Это будут настоящие «советские» евреи, в общем такие, каких в мире не найдешь. Они должны, как первые американские ковбои, завоевывать природу, но американские ковбои были хищниками по отношению к природе и врагами трудовому человеку, а у наших трудящихся масс превалируют общественные инстинкты, которые в десятки раз более сильны. Там каждый человек работал отдельно только для себя, а у нас коллективно.

Берл приостанавливался, чтобы перевести дух, но не успевал Бенци вообразить горбатого Берла верхом на мустанге, как его уносило новое пророчество: биробиджанская еврейская национальность не будет национальностью с чертами местечковых евреев Польши, Литвы, Белоруссии, даже Украины, потому что из нее вырабатываются сейчас социалистические «колонизаторы» свободной, богатой земли с большими кулаками и крепкими зубами, которые будут родоначальниками обновленной сильной национальности в составе семьи советских народов.

– Бори... Бери... Биробиджан (ты слышишь?) мы рассматриваем (они рассматривают!) как еврейское национальное государство! Потому что евреи – это очень верная и заслужившая это своим прошлым советская национальность! Верная! А вот Николай выселял нас из фронтовой полосы только за то, что мы евреи! Ты понимаешь? Мы сделаемся такими же, как все, будем шахтерами, пахарями, солдатами – как русские, как татары!

Судьба татар в Советском Союзе представлялась Берлу особенно завидной: бывшие завоеватели, а никто их этим не попрекает – трудящиеся не отвечают за преступления угнетателей!

Но обрати внимание, что говорит товарищ Шпрах из газеты «Дер Эмес» – дер Эмес, Правда! Реакционная еврейская буржуазия всполошилась, Еврейская автономная область стала им поперек горла. Еврейские буржуазные газеты, бундовские и другие социал-фашистские газеты в Америке стараются смазать это дело. Это объясняется тем, что это постановление уже сейчас произвело громаднейшее впечатление среди еврейских рабочих масс, а также и еврейской мелкой буржуазии капиталистических стран, нечего уже говорить о такой стране, как Польша, но и в Америке и ряде других стран. Газеты, которые сколько-нибудь нейтрально относятся к Советскому Союзу, не говоря уже о братских газетах, сейчас пишут о том, что еврейские трудящиеся не только приветствуют это преобразование, ибо оно показывает им, какой нужен путь для освобождения евреев, показывает общий пример разрешения национального вопроса, но часто прямо ставят вопрос – нельзя ли как-нибудь самим перебраться в Еврейскую область, чтобы принять участие в этом великом деле.

Товарищ Шпрах решался даже шутить перед столь высоким человеком: он рассказал про письмо какого-то польского еврея, переехавшего в Палестину: у него там квартира с

двумя балконами – один с видом на Иерусалим, другой с видом на Иордан и только нет третьего – с видом на пропитание. А в Биробиджане хоть и нет первых двух, зато третий обеспечен.

С плохой квартирой человек как-то мирится, главное – еда, собственная продовольственная база, соглашался Калинин. Даже сквозь трубный глас Берла пробивались его домашние интонации.

Вот тут говорили, рассуждал этот великий человек, что за пять лет в Биробиджане больше построили, чем за пятьдесят лет в Палестине. Повторяю, я рассматриваю Биробиджан с точки зрения больших перспектив, что у евреев-пролетариев есть свое отечество – СССР и свое национальное государство, они стали нацией.

«Я не думаю, чтобы вся еврейская буржуазия за границей была бы очень недовольна. Я думаю, что все-таки известная часть ее сочувственно относится. Только злейшие враги советского строя относятся к этому враждебно. Все-таки среди еврейского населения фашистских элементов сравнительно меньше. Повторяю, насколько я себе представляю, некоторая часть еврейской буржуазии все-таки положительно относится. Потому что трудящееся еврейство относится сочувственно».

Смазанные серые затылки слушали очень внимательно, а товарищ Бранин с Автозавода пообещал обо всем рассказать рабочим.

– Я десять лет, – сказал товарищ Бранин, – работаю на заводе им т Сталина. Сейчас мы взяли переходящее Красное знамя. Промфинплан наша кузница выполнила на три дня раньше срока. Приветствую вас, дорогой Михаил Иванович. Я очень рад. Просим к нам на завод приехать.

Какие сказочные слова: ходячее Красное знамя, промфинплан...

– И ведь будь уверен – приехал! – торжествовал Берл. – Ты думаешь, какой-нибудь царский министр поехал бы к рабочим?! Да у него бы от спеси печенка лопнула! И ты думаешь, какая-нибудь еще газета будет столько писать про еврейских рабочих и еврейских мужиков? Колхозников, – почтительно уточнял Берл. – Не про банкиров, не про заводчиков, министров, артистов, а про рабочих и колхозников? Тракторист Певзнер, пилот Цукерман, доярка Колдобская...

Имена звучали как сладостная музыка.

Натягивая на горбу ветхую серую ткань, Берл бережно раскладывал на своей железной койке распадающиеся части желтой ворсистой газеты.

– «Биробиджанская звезда»... – смаковал Берл ее название и тут же раскладывал ее идишистскую сестру: – «Биробиджанер штерн».

Обе звезды сияли из-под призыва, каждая на своем языке: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

– Знаешь, что еще мешает бедным соединиться? – прожигал Берл маленького Бенци сверкающей сапожной ваксой своих глазниц. – Семья! Все хотят устроить своих детишек и забывают общепролетарское дело. Мне легче, у меня никого не осталось. Трудящиеся всего мира моя семья. Даже мои мелкобуржуазные соседи – тоже мои родственники, только этого еще не знают. Не доросли. Но я их все равно снял на память – на свадьбе у сына Баруха-косоного, из своих денег заплатил фотографу!

Под серым тюфяком, сплюснутым, как собачья подстилка, почти разрывая горбом свою потертую блузу, Берл нашаривал мятый, будто жеванный, тусклый портсигар и извлекал из него картонную фотографию.

– Когда доберусь до Бори... Бери... Биробиджана, портсигар сдам в фонд Осоавиахима – это старое серебро, единственная ценная вещь во всем нашем роду! А фотографию отправлю товарищу Сталину. Видишь, что здесь написано? Да не здесь, на обороте! Читай, ты же умеешь читать по-русски! Это по-русски, просто у меня такой почерк, я же в лицах не обучался: «Товарищу Сталину от благодарных евреев-трудящихся всего мира!»

Берл зачитывал заветное излияние своего сердца с самым что ни на есть разнеженным видом. И все-таки, если бы какой-то русский человек увидел их в эту минуту – черно-седого косматого горбуна Берла и тем-нокудрого херувимчика Бенци, – ему бы непременно вспомнилась поговорка: связался черт с младенцем.

– А соседи знают? Что ты собираешься их отправить товарищу Сталину?

– Зачем им знать? Они еще не доросли. Но ничего, дорастут – сами спасибо скажут!

Евреи-трудящиеся действительно глядели довольно бодро – свадьба как-никак. Надо же, думали, что смотрят в стеклянный вылупленный глаз, а оказалось, будут смотреть в глаза самому Сталину!.. Бенци видел Сталина в обеих биробиджанских звездах – он был очень умный, но добрый и красивый, с усами почти такими же пышными, как у Пилсудского, только намного более аккуратными. Пилсудский и не захотел бы смотреть евреям в глаза. Бенци лишь через много лет пришло в голову, что на фотографии Берла нет ни хасидов с их витыми пейсами, свисающими из-под черных шляп, ни их жен в шелковых париках; Берла это тоже не смущало – видимо, он считал столь отсталую часть своего народа недостойной быть представителями трудящегося еврейства.

– Хорошо бы нас всех пропечатать в «Биробиджанской звезде»... – с сатанинским видом отдавался Берл на волю сладостных мечтаний (он вольно горбился в такие минуты, когда другие распрямляются). – Как бы туда переправить?.. Но, боюсь, пилсудчики не простят: как же, ихние, польские евреи – и в своей советской газете!..

«Биробиджанская звезда» и впрямь светила всем без разбора – и Фруминым, и Петиним, и евреям, и русским, – очевидно, тем, кто пожелал перейти в евреи. Но в самых высоких звонких сферах – обком, исполком – парили Хавкин и Либерберг, в один неожиданный момент, правда, превратившиеся в главарей банды Хавкина – Либерберга, троцкистско-зиновьев-ского охвостья... Правильно, непримиримо сдвигал черные с серебром пучки своих бровей Берл и пригибался, как зубр с могучим загривком, евреи должны первыми изгонять предателей из своих рядов, чтобы никто не мог нас упрекнуть, что мы ставим национальную солидарность выше общепролетарской. Тем более что на смену разоблаченным врагам народа пришел Гирш Сухарев, еще, видно, не определившийся, куда ему пойти – в евреи или в русские. И все-таки Бенци было грустно узнавать, как много даже среди счастливых биробиджанских евреев тайных и открытых саботажников, дезорганизаторов, бракоделов, прогульщиков, головоотяпов, антимеханизаторов, об-ратников, рвачей... Летунов... Летунам не место на социалистическом производстве, провозгласили стахановцы Блюма Ландман и Пинхас Бляхман, мы закрепимся на нашей любимой фабрике пожизненно. А студент Шраер и в самом деле отправился летать в аэроклуб и даже совершил прыжок с парашютом: воздух с легким свистом принял его в свои ласковые объятия. А другой студент, Школьник, отдал свою кровь товарищу, получившему ожоги, спасая из горящего техникума наглядные пособия. Школьник предлагал и кожу, но у друга хватило своей.

Дружба – вот что манило сильнее всего! В Биробиджане все дружили со всеми. Лыжники дружили с танкистами, флейтисты дружили с чекистами, смолокуры – с лесорубами, и даже в Театре имени Кагановича артисты дружно боролись с троцкистско-бухаринскими выродками: худую траву с поля вон! Оно и правда, гибнет племенная птица, пора вмешаться прокурору, – и все же Бенци не очень нравилось, когда ругаются, ему было намного приятнее, когда дружат и сочувствуют.

Его охватывала непривычная серьезность, когда «Биробиджанская звезда» своими лучами высвечивала, как фашистские изверги сеют смерть на полях Китая, Испании, Абиссинии, расправляются с беззащитным еврейским населением фашистской Германии; с ужасом и тревогой всматривались трудящиеся капиталистических стран в свое будущее, несущее им новое угнетение и новую кабалу (это было совсем не то, что кабала!), и единственной надеждой для них оставался свет Страны Советов, живущей радостной трудовой жизнью во славу и счастье всего трудового человечества!

Но в остальном-то мире что творилось! В Германии от голода ели собачье мясо, американские безработные продавали глаза, отчаявшиеся женщины убивали по пять детей разом и только уже потом себя, в японской тюрьме заключенных связывали друг с другом проволокой, продетой сквозь отверстия в щеках, а церковь давно сделалась прислужницей фашистов...

Спасения и правда можно было ждать только от Страны Советов! Понятно, почему молодежь Еврейской автономной области вместе с молодежью всей страны так радовалась отмене навязанных ей льгот, отсрочек от военной службы, мешающих ей поскорее стать в ряды защитников социалистической родины, исполнить свой священный долг.

Бенци очень нравилось слово «священный» – уж если Бога нет, пусть хотя бы что-нибудь священное останется! И волшебный философский камень никуда не делся: философский камень большевиков – сталинская Конституция. «Детище ленинско-сталинской национальной политики, – мурлыкающим голосом перечитывал Берл одно из многих имен Биробиджана. – Пробраз Всемирной Социалистической Республики».

Нет, Бенци определенно больше нравилось читать про друзей, чем про врагов. Ну, относится еврейская буржуазия с презрением к идишу – языку еврейской бедноты, – ну и пускай относится. А мы будем себе спокойненько заниматься боронованием зяби, набираться опыта на пока еще неопытной опытной станции, вместе с гольдами охотиться на лосей, тигров и белок – не пренебрегая капканами, как это делают некоторые легкомысленные удэге.

И кто был непрестанно поглощен всеми этими невероятно увлекательными делами, кому Бенци завидовал от всей души, кого он всегда перечитывал с упоением, – это был Мейлех Терлецкий. Вернее, в «Биробиджанской звезде» он подписывался «Михаил», но Берл все равно называл его Мейлехом, потому что так тот подписывался в «Биробиджанер штерн». Это, конечно, все равно, где как удобнее, так и можно зваться, – с русскими удобнее быть Михаилом, с евреями – Мейлехом. «Но мы-то с тобой евреи?..» – напористо выгибал спину Берл, хотя это и так было ясно.

Мейлех Терлецкий с евреями был евреем, с гольдами – гольдом, с нанайцами – нанайцем (в отличие от самого Бенци, по-видимому, прекрасно понимая разницу между теми и другими), с русскими – русским, с татарами – татаринком, с трактористами – трактористом, с рыбаками – рыбаком, с пограничниками – пограничником. Мейлех Терлецкий воспевал всех и сам со всеми в нужную минуту всегда оказывался рядом. Если в поле выходили комбайны – первым за штурвалом сидел Мейлех Терлецкий; если рыбаки забрасывали сеть в величавые амурские волны – самая большая кетина попадала в руки Мейлеха Терлецкого; если пограничный наряд Энской погранзаставы задерживал белокитайца – в дозоре с бойцами ступал след в след Мейлех Терлецкий.

«Мы родину строим у края страны, где слышится рокот амурской волны»... «То не страна бесплодных древних грез, то не народ Кармеля и Синая»...

Этот поразительный человек и стихи умел сочинять. Он был самой влекущей и жаркой звездой обеих биробиджанских звезд – чего бы не отдал Бенци, чтоб хоть одним глазком взглянуть на эту потрясающую личность!

– Ты думаешь, биробиджанская звезда какая, шестиконечная? – тем временем пригибался к нему крючконосый Берл. – Нет, холера им в печенку! Сейчас за души евреев борются две звезды – шестиконечная и пятиконечная! И пятиконечная победит! Запомни эти башни! – Берл в сотысячный раз подносил поближе к лампе рванный почтовый конверт с грязно проштемпелеванной крупной маркой, на которой была изображена череда крошечных кремлевских башенок, увенчанных совсем уж микроскопическими красненькими звездочками. – Вот посмотришь, мы с тобой еще увидим эти звезды!

* * *

Пророчество Берла, как и положено, осуществилось в самой неожиданной форме и гораздо быстрее, чем при всем их оптимизме могли предположить оба билограйских

друга. В одно ирреальное утро на противоположном берегу киснущей под изумрудной ряской речушки появились пограничные столбы с пятиконечными пламенеющими звездами, а между столбами стали непреклонно прохаживаться с винтовками через плечо невиданные прежде солдаты, на пилотках и фуражках которых вполне можно было разглядеть точно такие же, только маленькие, призывно поблескивающие красные звездочки.

Зато на улицах Билограя неведомо откуда, без всяких видимых битв и сражений возникли немцы, точно такие же, какими их впоследствии Бенци тысячи раз видел в кинохронике. Бенцион Шамир даже и не знал толком, успели ли они натворить что-нибудь особенно ужасное, – всему младшему поколению Давиданов с первого же дня настрого запретили не только выходить на улицу, но даже и подходить к зашторенным окнам. Отдельные выстрелы были слышны, но стреляли вроде бы по немногочисленным гойским собакам – своих-то у себя на родине, наверно, всех уж давно переели...

Даже до желтых моголеновидов дело, кажется, не успело дойти, хотя идея, надо признать, была недурна: чего, мол, хотели, то и получите.

А буквально через несколько дней Папа в кромешной тьме разбудил Бенци и пугающе ласково предложил побыстрее одеваться, причем соглашался на несколько секунд зажечь спичку лишь в самых крайних случаях. «Ковры!.. – время от времени шепотом вскрикивала невидимая Мама. – Из Лодзи выписывали!.. А фарфор!.. Из Майсена везли!.. Может быть, не будем торопиться, может, все еще образуется?..» Пока наконец Папа не прошипел с неслыханным негодованием: «Вдумайся, что ты говоришь!.. На карте стоит жизнь наших детей, а ты вспоминаешь про какой-то хлам!»

Но все-таки Мама в темноте ухитрилась сунуть ему в саквояжик невидимый комплект столового серебра.

А еще через полчаса все семейство во главе с Папой спешило к речке, стараясь ступать беззвучно, как бойцы Энского погранотряда. Столовое серебро, правда, пыталось побрякивать на каждом шагу, но Папа, приостановившись, быстро и беззвучно раскидал его по темной невидимой пыли.

Осенняя ночь была всего лишь прохладная, но Бенци все равно неудержимо трясло мелкой дрожью, как будто он выбрался из горячей ванны в какой-то погреб. Разувшись в невидимой прибрежной золе, о брюках и юбках Давиданы уже не заботились. Речушка была мелкая, но Бенци его костюмчик обжимал где-то на уровне груди. А когда вода снова сделалась по колено, перед ними беззвучно возник настоящий пограничный наряд.

Наставив на Давиданов черные силуэты винтовок, черные силуэты пограничников неумолимыми жестами гнали их обратно. «Давай назад! Будем стрелять!» – грозно повторял главный, а Папа вполголоса зывал, умолял, убеждал, Мама сдавленно плакала, повторяя на смеси польских и русских слов: у вас тоже есть матери, у вас тоже будут дети, – но силуэты были неумолимы. Шимон-Казак уже завел что-то горделиво-обличительное, что-то вроде «вы сами не лучше...», но Мама успела оборвать его бешеным шипением.

Время шло, на черном небе, словно разгорающаяся печь, начала накаляться безжалостная заря, на пограничных фуражках стали проступать красные звездочки, а мокрые Давиданы продолжали погружаться все глубже и глубже в ил. «Пан офицер!.. – в последний раз взмолился Папа, и Бенци с последней отчаянностью поправил его: – Не пан офицер – товарищ командир!»

И ему показалось, что один из пограничников хмыкнул.

На немецком берегу послышался топот приближающегося конного разезда. Семейство заголосило, уже не таясь. Бенци же сел прямо в воду и заплакал. Ладно, давайте, только быстро, махнул рукой главный, и Давиданы с чавканьем поспешили под спасительную сень красных звезд. Немцы на битюгах недвижно адели на противоположном берегу.

– Что, пан, опоздал? – насмешливо крикнул их начальнику русский командир.

Несмотря на еще не рассеявшийся сумрак, Бенци навсегда запомнил это сильное молодое лицо, которому плохо удавалось непривычное ироническое выражение.

Зато когда их доставили в штаб, уже были отчетливо видны все трещинки на Папином саквояжке.

* * *

В ожидании, пока высохнет их одежда, Давиданов без различия пола и размера всех обрядили в красноармейское обмундирование, а потом до самого вечера допрашивали и оптом, и в розницу. В тот день Бенци впервые в жизни увидел Папу небритым.

Более того, у Папы на всякий случай – как опасное оружие – изъяли опасную бритву. Зато – как орудие труда – оставили ланцет.

Поселили их в бескрайнем манеже, спешно покинутом стоявшим в заречном городке кавалерийским полком. Над входом в здание склонилась пара дружелюбных лошадиных морд из коричневого крашеного гипса, который маленькому Бенци в отколупнутых местах показался белым камнем.

Необозримый пол манежа был устлан толстым слоем золотой соломы, на которой, издавая наполняющее залу монотонное гудение, лежали, сидели, прохаживались обносившиеся люди – мужчины, женщины, старцы, младенцы... Цыганский табор, однажды ненадолго раскинувшийся на задворках Билограя, был лишь слабым намеком на это мрачное кишение.

Все это были в основном еврейские беженцы, такие же, как Давиданы.

Которые с невероятной быстротой и вправду сделались неотличимыми от них.

Наутро Бенци пришлось увидеть Папу не только окончательно небритым и всклокоченным, но и обсыпанным с ног до головы соломенной трухой. Остальные, разумеется, были не лучше, но им это как-то больше дозволялось, Папе же...

И Папа сам это почувствовал. Не отыскав мыла, он, стараясь не морщиться от постоянных микроскопических порезов, сколько мог тщательно на ощупь побрился ланцетом, оставив свои обычные небольшие усики. Когда он встал и принялся стряхивать с жеваного костюма набившуюся во все щели труху, мальчишка с соседнего лежбища, по возрасту что-то среднее между Бенци и Шимоном, засмеялся с еще никогда не слышанной Бенци злобной радостью и показал на Папу пальцем:

– Чарли Чаплин!

Ближайшие лежбища зашевелились, начали поворачивать головы и мрачно усмехаться. Бенци к тому времени еще не видел чаплинских фильмов, но впоследствии должен был признать меткость наблюдения: оборванец, который из всех сил тщится выглядеть джентльменом, – Папа неосторожно принял на себя именно эту роль.

Вокруг же оказались не знавшие его простые люди, во множестве успевшие, сменив под сводами манежа лошадей, окончательно опроститься и твердо усвоить, что такая изысканность, как великодушие, им больше не по карману. Бенци был еще слишком мал, чтобы отчетливо это сформулировать, но ледяной холод в животе и мурашки под волосами с предельной ясностью открыли ему главный ужас их положения: самое страшное, когда наизлейшим врагом оказываются не враги, а товарищи по несчастью.

Шимон-Казак вскочил и хотел кинуться на наглеца, но папа его удержал. С бесконечной серьезностью и грустью он посмотрел Шимону в глаза и произнес: «Все, что ты можешь, – это сделать из одного безобразия два».

* * *

И Бенци понял, что ни папа, ни мама, ни Шимон и никто на свете не сможет больше его защитить.

С этой минуты его душа съезжилась в кулачок, свернулась в крошечную спору: из всего прежде бесконечно красочного и многообразного мира он начал замечать лишь опасное и полезное – только то, что может ударить или выстрелить, да еще то, что можно съесть или чем можно согреться.

* * *

Он старался пореже выходить из манежа, даже когда это уже разрешили, а штиблетики еще не начали пропускать воду: теперь его страшил неумеренно просторный мир, даже когда дождь сменялся солнцем и под открытым небом становилось несколько теплее, чем под крышей. Набив для тепла в рукава и штанишки свежей соломы – запасы ее оказались неиссякаемы, – Бенци, съжившись, старался побыстрее прошмыгнуть по чуточку более столичным – мощным улочкам городка, высматривая, где что плохо лежит. Плохо лежало довольно много разных полезных предметов, однако их предполагаемые хозяева внушали ему такой смертный ужас, от которого буквально подкашивались ноги, немели кончики пальцев. Особенно когда, точно с крыши сорвавшись, по булыжнику внезапно прогрохатывала телега.

Впрочем, Бенци теперь при любых незнакомых – да и знакомых тоже – звуках на всякий случай еще глубже втягивал голову в плечики.

Обычно он добредал до самого внушительного здания с огромной, в треть двухэтажного фасада, красной звездой, обросшей по периметру электрическими лампочками, и долго стоял перед ней, как будто тщетно стараясь припомнить что-то. По вечерам звезда, должно быть, испускала совершенно неземное сияние, но Бенци теперь боялся ходить в темноте, а потому вечером в городок не выбирался, хотя даже мама считала это безопасным: к шатающимся повсюду нищим беженцам все уже привыкли, и никто ничего плохого против них не предпринимал. Хотя и подавать уже не подавали – на всех не напасешься, слишком уж много их свалилось на это небогатое местечко: кроме манежа, беженцами была под завязку набита и старенькая синагога.

Все, что у них можно было купить, было уже куплено, а вшей и дизентерии своих хватало. А уж когда самые предприимчивые начали перекупать на полдороге у приезжающих на крошечный рынок окрестных крестьян яйца и капусту, чтобы перепродать их подороже... Такая вещь, как рост цен, не приветствуется ни в столицах, ни в местечках.

Справедливости ради надо, однако, отметить, что к манежу дважды в день подгоняли полевою кухню, но в каждой бригаде, на которые были разбиты обитатели манежа, тщательно следили друг за другом, чтобы никто не подошел дважды. Тем не менее довольно скоро методом сравнения Бенци предстояло убедиться, что кормили их здесь не так уж отчаянно плохо и его постоянное желание что-то съесть было наполовину тоской по чему-нибудь вкусненькому, домашнему.

Возможно, и Шимон-Казак с риском для жизни пробирался через крышу на армейский склад тоже не столько из-за нехватки калорий, сколько из-за нехватки бодрящих впечатлений: ему с его гордым нравом было труднее всего превратиться из блестящего лихого парня в унылого бездомного пса – он предпочитал сделаться волком.

Быть может, превращение в бездомного пса всего труднее давалось папе, но какие нормальные дети думают о таких вещах! Папино дело служить каменной стеной, а если стена начала осыпаться, уходить в болото, от детей требуется, самое большее, деликатно отвернуться. Папа, понимая это, и сам как-то стушевывался, старался поменьше обращать на себя внимание. И хотя он по-прежнему не откликался на кличку «Чарли» – он, еще недавно предмет всеобщей любви и даже гордости! – не слышать ее он все-таки не мог. И вместе с тем, покуда ланцет еще был в состоянии что-то сбивать, он не оставлял своих попыток хоть в какой-то мере сохранить привычный облик. Он предлагал охране и свои услуги в качестве врача для товарищей по несчастью, однако ему твердо дали понять, что буржуазные дипломы здесь не в цене. Здесь был свой медпункт.

Мама же с первых дней, казалось, напрочь забыла как о своем благородном происхождении из рода знаменитых знатоков Книги, так и о своем пребывании в гуманитарных учебных заведениях Вены и Парижа:

очень скоро ее было уже не отличить от местечковых теток, супруг портных и шорников, – та же вечная недалекая озабоченность на мятом бледном лице, та же куриная хлопотливость, сосредоточенная на чем-то третьестепенном, та же готовность часами

дискутировать, где больше витаминов – в луковой шелухе или в капустной кочерыжке... Папа ни разу не притронулся к шимоновским трофеям, отвергая путаные версии их происхождения, – мама же хлопотала над ними почти жизнерадостно.

Словом, мама относительно легко вписалась в новую реальность.

Сестра Фаня, которая постепенно вновь сделалась оживленной и даже смешливой, серьезно приглянулась молодому охраннику в суконном остроконечном шлеме со звездой во лбу. Под сенью этой звезды Фаня подолгу просиживала с ним в караульном помещении, осваивая русский язык, а может быть, и еще что-то, во время увольнений выходила с ним погулять в центр – видимо, тоже полюбоваться на обсиженную лампочками звезду, ибо больше смотреть там решительно было нечего, хотя тамошняя нищета была уже без претензий, с деревянными галерейками вдоль домишек, – однако ночевать возвращалась все-таки к семье. Благодаря ей семейство Давидан спало уже не на голой соломе, а на брезентовом полотнище. Бенци не помнил в точности, когда Фаня тоже выправила советский паспорт и переехала к мужу в палаточный городок: Фаню, избравшую отдельную судьбу, Бенци бессознательно перестал ощущать родным человеком. Устроилась – и хорошо, значит, можно о ней забыть – таков примерно был его тогдашний образ чувствований.

Какие-то обрывки безнадежных взрослых переливаний из пустого в порожнее у Бенциона Шамира сложились в подозрение, что и у остальных членов семьи были шансы получить советские паспорта, но папа полагал, что это раз и навсегда отнимет у них надежду когда-нибудь выбраться из Страны Советов, – вслух и прямо это не произносилось. А кроме того, папа держался за их иллюзорную защищенность статусом иностранцев.

Бенциону Шамиру это не казалось смешным, он уже давно понимал, что на свете нет ничего драгоценнее иллюзий – именно из-за чарующих иллюзий всегда проливались и будут проливаться самые полноводные реки человеческой крови. Потому-то и был так страшен мир, окруживший Бенци за пограничной речушкой, – это был мир без иллюзий, без сказок. А мир без сказок – это и есть ад.

В аду не было ничего чарующего – только скучное (полезное) и страшное (опасное). Потому-то в нем и не нашлось места для кроткой застенчивой Рахили: о тех, кто себя не навязывал, тогда легко забывали. И Бенцион Шамир никакими усилиями не мог вспомнить – какой она стала, Рахиль? Чем занималась? О чем думала эта еврейская принцесса, как ее в ласковые минуты именовал папа, и сам-то оказавшийся порядочным принцем?..

Тех, у кого обнаруживался тиф или дизентерия, увозили в неведомые края, откуда кое-кто все-таки возвращался. Но из тех, кого по ночам увозили черные силуэты с одним карманным фонариком на троих, ни разу не вернулся ни один. И все понимали, что эта болезнь – самая страшная. Наиболее подверженными ей оказались религиозные евреи: борода, пейсы, талес, склонность молиться, хоть как-то выделять иудейские праздники были чрезвычайно опасными симптомами.

С симптомами же менее тяжелыми обращались в медпункт.

Почти никаких красок в памяти Бенци не осталось от тогдашней заречной жизни – все было стерто беспросветной тоской; однако красный крест на кирпичном домике главного конюха, исчезнувшего вместе с конницей, как новенький стоял в глазах Бенциона Шамира: красный крест мог соперничать пламенностью с самой красной из красных звезд. Два раза в неделю, каждый раз под новую песенку, домик отпирал полустертый временем фельдшер, до оторопи веселый в этой зоне тоски, суровости и той предсмертной грызни, когда грызутся, чтобы не повеситься.

Пациентов неунывающий эскулап выслушивал посвистывая и тут же выбрасывал рецепт. Кашель? Харкайся, пока грыжа не вырастет, тогда снова придешь – следующий! Живот болит? Пробздишься – следующий! Ухо не слышит? Меньше слышишь, крепче

спишь – следующий! В глаз попало? Глаз не п... – проморгается, следующий! Голова? От головы одно хорошее средство – девять граммов, получишь у прокурора – следующий!

Рецепты выдавались всем одни и те же, и мужчинам и женщинам, однако многих защищало то, что они недостаточно глубоко знали русский язык для постижения всех нюансов фельдшерского остроумия – от которого он сам явно млеял, в расстегнутом как бы белом халате раскачиваясь на стуле позади обеденного стола (письменным исчезнувший конюх не располагал).

Однако с некоторыми больными он запирался и на десять, и на двадцать минут – тоже почему-то предпочитая пару-тройку любимчиков-ортодоксов со всеми полагающимися бородами, пейсами и ермолками. Шимон-Казак, изнывая от любопытства, пытался подглядеть в окно, но окна были непроницаемо забелены изнутри.

Тогда неукротимый Шимон в один из нерабочих дней, работая в привычной технике, разобрал потолок прямо над столом и заранее затаился на чердаке – так ему удалось через вполне сносную дыру пронаблюдать от начала до конца прием одного из наиболее неизлечимых страдальцев. Оказалось, что образцовый иудей совершенно свободно тараторит по-русски, по-свойски поминает с фельдшером каких-то их общих знакомых – правда, перейдя к серьезному разговору, больной доверительно перегнулся через стол. Тем не менее суть беседы реконструировать ничего не стоило.

Перлов Хаим Лейбович говорил Пинскеру Шевелю Соломоновичу и Чечик Мордуху Ерухимовичу, что мы, верующие евреи, должны держаться вместе, не брать советские паспорта, а то нас разошлют по всей России и поодиночке превратят в гоим, заставят работать по субботам и есть свинину, в этой стране верующие люди каждый день должны ждать каких-то неприятностей или даже ареста, но надо набраться терпения, и тогда нас всех рано или поздно выпроводят в Палестину.

– Выпроводим, выпроводим, – недобро посмеялся фельдшер, продолжая быстро записывать жалобы пациента. – Колыма большая, всем места хватит.

Выслушав азартный шепот Шимона, папа начал осторожно наводить справки, кто такие эти Перлов, Пинскер и Чечик, но пока он наводил их, все трое успели исчезнуть.

Папа дипломатично пустил слухок, что надо остерегаться тех, кто надолго задерживается в медпункте, однако люди продолжали исчезать: видимо, где-то там и без фельдшера знали, кто чего стоит. Доктора, которые там сидели, умели ставить диагноз, и вовсе не вступая в личные контакты.

* * *

Однажды Бенци приснилось, что он стоит среди незнакомой улицы, а вокруг с треском проносятся по бульжику и исчезают телега за телегой, на которых, обхватив руками колени и уткнувшись в них лицом, сидят какие-то серые люди со стертymi серыми затылками. Проснувшись, он понял, что это были не телеги, а отдаленные автоматные очереди.

На немецком берегу все той же сделавшейся пограничной речушки все те же немецкие солдаты, отчетливо различимые в беспощадном ясном свете морозной зари, короткими очередями в небеса, чтобы пули не попали на дружественную советскую территорию, и остервенелыми ударами прикладов в спины и затылки под лай рвущихся с поводка еще не съеденных собак сгоняли билограйских евреев на проламывающийся лед – и тут же начинали стрелять им под ноги, побуждая бежать на советскую сторону. Жидовские комиссары, надрывался какой-то весельчак на ломаном даже для Бенци русском, это вам подарок от фюрера, вы любите жидов, вот и засуньте их себе в задний ход!

«Жидовские комиссары» в тулупах до земли и в суконных шлемах с красными звездами неподвижно стояли цепью, держа карабкающуюся на берег вопящую толпу под наведенными винтовками; их командир яростно кричал в жестяную воронку: «Давай назад!!! Будем стрелять!!! Ком цурюк!!!»

После винтовочного залпа, взбившего фонтанчики снега с землей у самых ног окончательно потерявших голову билограйских евреев, они кинулись обратно, где их встретило еще более горячее огневое приветствие. Пометавшись черным стадом в черной воде среди перекошенных сверкающих льдин, толпа человек в двести съежилась на кромке внушающего все-таки меньший ужас советского берега.

Отвергнутый обеими сторонами человеческий мусор сидел сбившись в кучу, обхватив руками колени и прижавшись к ним лицом – только матери утыкали в свои колени захлебывающихся криком младенцев.

Где-то в верхах военные и гражданские чины лихорадочно обменивались докладами и распоряжениями, а мокрые отбросы двух миров, начиная серебриться инеем, все сидели и сидели, свернувшись эмбрионами и втискиваясь друг в друга, как стадо баранов.

Бенци смотрел на эту картину из-за оцепления, лишившись не только дара речи, но и дара какого бы то ни было понимания, – он и сам был бараном в эти часы.

Вдруг до него дошло, что где-то в сбившейся черной куче сидит и Берл, и ему показалось даже, что он различает его серебрящийся горб.

– Береле!.. – изо всех сил закричал он и кинулся.

Папа удержал его и развернул лицом к своей старенькой шинели не по росту, которую ему принесла Фаня от своего жениха (мама сразу же вернулась в манеж, как только увидела, что здесь творится). Но, закашлявшись от запаха шинельного ворса (в манеже все беспрерывно кашляли на все лады), Бенци высвободился и с забытой яркостью снова увидел перед собой каменевшие спиной к нему советские тулупы, вдали за речушкой – немецкие шинели, а у берега – недвижимые затылки и спины тех, кто целую вечность тому дружелюбно улыбался ему из билограйских домишек.

Дети почти уже не плакали, лишь отдельные упрямы еще издавали едва слышное сипение.

«Смотри, смотри!» – словно приказал ему кто-то.

И запоминай.

Он совсем не испытывал страха, он совершенно спокойно мог бы кинуться на винтовки, если бы это не было настолько бесполезно.

Но смотреть зачем-то было нужно. И он смотрел.

* * *

Папа пытался увести его, но он отказался со взрослой, вызывающей уважение серьезностью.

Он должен был выстоять до конца. Чтобы запомнить все.

* * *

Но сколько же могли прожить мокрые люди на морозе?..

И тут небеса смилостивились – ясное морозное солнышко затянуло пасмурностью, начал не по сезону накрапывать дождь; сначала накрапывать, потом лить. Серебрящиеся спины и затылки снова почернели.

И чернели до темноты. А потом продолжали чернеть в свете наведенных на них автомобильных фар – чтобы в темноте никто не пробрался куда не положено.

Лишь на следующий день к вечеру сжалились и государственные небеса, кто-то где-то наконец понял, что от обременительного дара все равно не избавиться, и позволил выпустить из оцепления раненых и женщин с детьми, а для остальных распорядился на нейтральной полосе вдоль взрытой речушки натянуть армейские палатки. А уже в полной темноте к палаткам подъехала полевая кухня.

Но ни оцепление, ни фары не были убраны. Советская власть тоже не собиралась сдаваться так быстро.

И ее упорство принесло кое-какие плоды. С каждым днем от палаточного стана отделялись новые черные фигурки, которые брели вдоль пограничной канавы к отдаленному мосту, официально связывающему красную звезду с черной свастикой. Там уже приплясывала, сидела на корточках, грела руки у костерков и грызлась очередь,

бесконечная в самом точном смысле этого слова, ибо те, кому было нечего сунуть дежурным чинам, были обречены ждать бесконечно. И стремительно взрослевший Бенци надолго почувствовал, какая это, в сущности, человеческая вещь – взятка: даешь что-то бесполезное, вроде сережек с жемчугом или кольца с брильянтом, – и для тебя делают что-то нужное, вместо того чтобы делать что приказано.

Именно эта пьеса – «Очередь в ад», написанная молодым Бенционом Шамиром с элементами еще редкой в ту пору драмы абсурда, и принесла ему первую славу: люди хитрили и грызлись, чтобы поскорее попасть в газовую камеру. Фотография автора во фраке была помещена во многих нью-йоркских газетах после премьеры в одном бродвейском театре.

Вылитый папа, хотелось сказать тем немногим, кто помнил его отца.

* * *

В манеж Бенци вернулся воодушевленный:

– Давайте выкупим Берла!

– На какие рубли, мы давно все распродали!.. – голосом нищенки запрочитала мама, и Бенци был серьезно потрясен, когда впоследствии выяснилось, что мама все-таки припрятала свое обручальное колечко.

Но ведь у Берла был еще и портсигар, старинное фамильное серебро!..

Командира оцепления Бенци выделил по фуражке со звездочкой среди суконных шишаков со звездами – и не ошибся.

– Там, у речки... – начал он почти уже без акцента, но красный командир не дал ему закончить: – Ты хочешь, чтоб я их всех отпустил, а сам сел?

И Бенци осенило, что портсигаром должен заинтересоваться фельдшер: такие веселые люди обычно не страдают излишним фанатизмом, сказал бы он, будь он постарше.

– Старинное серебро?.. – усомнился фельдшер, переставая покачиваться. – У сапожника?.. Фуфло, наверно, какое-нибудь.

Однако к оцеплению прогуляться согласился. Посвистывая.

В советских войсках уважали медицину: стоило фельдшеру что-то шепнуть командиру, как тот тут же ему козырнул.

– Как фамилия? Да не твоя, сапожника? – и Бенци похолодел: в Билограе такие изыски, как фамилия, почитались совершенно излишними.

Командир, недовольно крикнув, все-таки зашагал в своей долгополой шинели по невесомому девственному снежку к обвисшим под слоем такого же, казалось бы, невесомого снега палаткам. Бенци ясно слышал, как он, переходя от палатки к палатке, повелительно выкрикивает: «Сапожник Берл, с вещами на выход!»

И наконец – Бенци не верил своим глазам! – Берл, окончательно сгорбившийся, обросший седой щетиной, повязанный, словно женщина платком, какой-то серой тряпкой, шаркал по снегу прямо к нему, затравленно озираясь исподлобья. Он надрывно кашлял, как завзятый ветеран манежа, через два шага на третий щедро сплевывая, и на девственном снегу каждый раз вспыхивала новая красная звезда.

В руках Берл держал свою чугунную ногу.

Друзья самозабвенно обнялись. Берловская щетина впилась не хуже сапожных гвоздей, но Бенци наслаждался этой болью.

Берл прервал объятие только для того, чтобы зажечь на снегу еще одну красную звезду.

– Что с тобой, что они с тобой сделали?.. – страдальчески воззвал Бенци, уверенный, впрочем, в тот миг, что самое страшное уже позади.

– Хорошенько по горбу получил от фюрера. – Берл хрипел и диковато озирался из-под платка, похожий на какую-то ужасную бородатую ведьму.

– А зачем у тебя нога?

– У богатых самое дорогое деньги, а у нас – орудия производства.

Еще одна красная звезда, еще одна...

– А как же твой укроп? – многозначительным тоном Бенци намекал на его подземный архив.

– Какой уж тут укроп... – не понял Берл.

Неужели он забыл и про Биробиджан?..

– Отставить сопли! – оборвал фельдшер и покосился на начальника оцепления. – Закурить есть? – без церемоний обратился он к Берлу.

– Не курю.

Звезда, звезда...

– А кто тебя спрашивает, куришь ты или не куришь? Портсигар есть?

– Отдай ему портсигар! – страстно прошептал Бенци в ледяное хрящеватое ухо Берла, отодвигая тряпку – оказалось, ту самую, которой Берл когда-то завешивал окошко.

Теперь они были почти одного роста.

– Портсигар?.. – вслух изумился Берл. – Я его должен отвезти в Биробиджан!

В Советской России Берл немедленно выучился правильно произносить это слово с первой попытки.

– Чего-о?! – еще больше изумился фельдшер – и разом оборвал разговор: – Не-ет, от дураков нам ничего не надо.

И посвистывая зашагал прочь.

– Он же больной, у него кровь!.. – умоляюще закричал ему вслед Бенци, и фельдшер радостно крикнул через плечо: – Горбатого могила исправит!

Берл презрительно сплюнул, но красные звезды на снегу для презрительности пылали слишком страшно.

– Он тебе кем приходится? – мрачно спросил у Бенци начальник оцепления.

– Мы братья, – не задумываясь ответил Бенци.

– Братья?.. – Берл годился ему скорее в деды. – А, двоюродные, братаны... Лады, забирай его, только по-шустрому. И никому ни слова, понимаешь? Если кто спросит, отвечай: по особому распоряжению! Ты запомнил? По особому распоряжению!

* * *

Берл, согнувшийся в три погибели, но по-прежнему негибачей, нахлобучивал на чугунную ногу очередные оскалившиеся опорки, которым давно было пора обрести заслуженный покой в законной помойной яме, и все так же азартно вколачивал в них гвоздики, понадерганные из окончательной рвани, от которой отказались и беднейшие из бедных. Он по-прежнему, словно рыбы косточки, выдергивал щетинки гвоздей из стиснутых извилистых губ, уже не голубых, а белых и сморщенных, словно пальцы после ванны. Теперь у него хватало терпения отхаркиваться и сплевывать жидкие красные звезды в специальную консервную банку, лишь израсходовав весь гвоздевой боезапас.

Жить стало легче, жить стало веселее. Если, конечно, не обращать внимания на практически никогда не стихающие сдавленные рыдания очередной матери, еще не успевшей свыкнуться со смертью очередного младенца (остальные-то с этим уже свыклись, с тем, что, покуда не подошла твоя очередь, надо как-то отвлекаться). Разваливающихся сапог и башмаков вокруг было море разлитое – не только в манеже, но и в самом городке. Бенци ожидал, что с бедных Берл не будет брать вовсе ничего (а богатые к нему почему-то не спешили), но Берл, очевидно, считал их еще недоросшими до истинно братских отношений. Считал не без оснований...

Строго говоря, папа Давидан тоже никак не мог подняться до общепролетарского дела, но Берл, по-видимому, жил по принципу «семья моего брата – моя семья», отец отвечал за сына и был оправдан его достоинствами: получаемые крохи делились на всех – Шимон, судя по его бравому и с каждым днем все более хулиганскому и «гойскому» виду, делился своей добычей далеко не так неукоснительно.

Берл же прощал политически незрелым членам своего ближнего круга даже самые досадные идейные шатания. Когда они с папой пускались в политические прения, Бенци сжимался от страха, что Берл вот-вот взорвется (папа-то никогда не взрывался...).

На ловца и зверь бежал: из общей кавалерийской уборной Берл немедленно притащил клок советской «Правды» аж еще за сентябрь. «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать, – со значительным видом зачитывал он, водя своим горбатым носом по мятым строчкам. – Тем самым прекратили свое действие договора между с, с, с, р и Польшей». В семействе Давидан все уже более или менее понимали по-русски, но мама совершенно перестала интересоваться чем бы то ни было за пределами ближайшего метра и ближайшего дня, Фаня и Шимон постоянно отсутствовали, а Рахиль – Рахиль отсутствовала в памяти Бенциона Шамира – так, грустная тень какая-то...

– Советское правительство, – хриплый голос Берла становился растроганным, и неотложное сплевывание в консервную банку он начинал осуществлять с предельной деликатностью, – советское правительство не может безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными.

Черно-седые колтуны волос и бороды, шелушащийся клюв носа вкупе с как будто бы еще сильнее подросшим и заострившимся горбом делали Берла похожим на какого-то одичавшего лесовика, в которого непостижимым образом вселилась растроганная душа восторженного юнца.

– О евреях ни слова, – грустно указывал ему папа. – Это понятно – большим державам не стоит из-за такой мелюзги ссориться с другими большими державами... Пока у нас не будет своего государства, мы так и останемся мусором, который перебрасывают друг другу через забор.

Бенцион Шамир впоследствии даже удивлялся, насколько точными оказались слухи о том, что при советско-германском обмене населением евреям не отыскалось места среди русских, украинцев, белорусов и немцев. Собственно, этих слухов не оспаривал и Берл, но он все равно очень сердился, когда папа подводил под них теоретическую базу:

– Все понятно, мы для них никто.

– Как это «никто»?! – кипятился Берл, сверкая своими черными резными глазами, сердито отбрасывая от них черно-седые космы волос и оставляя на месте черно-седые пучки бровей. – Мы не никто, мы хозяева страны! Только мы сначала должны доказать свою преданность! А пока среди нас много врагов, много шатких элементов! Нетрудящихся! Когда мы докажем свою преданность общепролетарскому делу, мы сделаемся частью могучего народа – и тогда нас никто не посмеет тронуть!

Торжествующий алый плевок.

– Могучие народы в тяжелую минуту всегда согласятся принести нас в жертву, – грустно вздыхал папа. – Если бы даже Сталин нас любил, у него все равно нашлись бы дела поважнее.

– Для Сталина все важны, – как ребенка начинал утешать его Берл и сплевывал в банку с таким видом, словно опускал крупную монету в папину копилку. – Для отца все дети важны, и большие и маленькие. Но Сталин сейчас не может выказать нам свою заботу открыто. Большевиков и так обвиняют, что ими управляют евреи, они должны этот козырь выбить из рук фашистской пропаганды. А в самом Советском Союзе евреи процветают!

Горделивое сплевывание.

Берл помнил неисчислимое количество еврейских комкоров, комдивов, наркомов, обкомов, санупров, худруков, начкадров, песенников, хозяйственников...

– Но остались ли они евреями? – тщетно пытался остановить водопад громких имен папа. – Что хорошо для людей, то может быть убийственно для народа. Для его мечты. Может быть, мы как народ только сейчас по-настоящему начинаем возрождаться. Может быть, ужасы, которые с нами происходят и еще произойдут, послужат каким-то страшным уроком, может быть, наши мучения не напрасны... Кто знает, может быть, мы сделаемся той страшной легендой, которая сплотит и поднимет еврейский дух?.. Породит новую общую мечту?.. Может быть, в этом наша историческая роль? Может быть, кто-то из-за

нас не захочет искать успеха в среде более сильных народов, а пожелает спасти остатки своего народа, служить его мечте?..

– Кто бы спорил? – Берл наконец начинал улыбаться своими длинными белыми губами. – Всем умным людям уже давно ясно, как нужно спасти еврейский народ. И где. В Советском Союзе! В Красном Сионе! В Биробиджане. Вы увидите – нас всех скоро туда отправят. Тех, кто выдержит проверку, выкажет пролетарскую стойкость. Нам нужно только очиститься от антисоветских и клерикальных элементов. Вы посмотрите, они и здесь раскачиваются, обматываются, выискивают, в какой стороне их любимый буржуазный Сион!..

– Антисоветские элементы твои друзья, по-моему, больше всех плодят сами... – замечал папа как бы про себя (вообще-то с Берлом они уже держались по-свойски). – А что до клерикальных... Еврейская культура вся проникнута религией, все обряды, все ритуалы, все предания... Даже кухня... Я, к несчастью моему, не верую в Бога. Но я понимаю, что если из еврейской культуры изъять все, в чем присутствует религия, то не останется ничего. Просто ничего.

– В Биробиджане мы создадим новую, социалистическую еврейскую культуру! Какая и не снилась эксплуататорским классам! Нам только нужно выдержать испытание на стойкость. И мы его выдержим!

И Берл нежно спустил в консервную банку подзадержавшуюся кровавую слизь, а потом любовно посверлил папу из-под черно-седых косм мудрым, прямо-таки сталинским взглядом с ленинской хитринкой (Бенци уже насмотрелся ленинских портретов и даже успел узнать, что именно хитринка является одним из главных атрибутов ленинского обаяния):

– Я уже написал товарищу Сталину. Я написал: испытайте нас и тех, кто выдержит, можете смело отправлять в Биробиджан.

– Ты и фотографию ему отправил?... – спросил потрясенный Бенци.

– Не-ет, фотографию я отложил до личной встречи. Приедет же он когда-нибудь в Биробиджан!

* * *

Если учесть сверхчеловеческую занятость товарища Сталина, ответ от него пришел сравнительно скоро – товарищ Сталин милостиво повелеть соизволил ниспослать еврейским отверженным взыскиваемое испытание: с приходом тепла их наконец перестали манежить и бросили резать торф.

Бенци запомнился только длиннейший растрепанный сарай с прорехами в соломенной крыше – солома оказалась теперь не только под ногами, но и над головой; все внутреннее полутемное пространство было увешано никогда не просыхающим тряпьем. Когда впоследствии Бенци встречал у русских классиков не вполне понятное слово «овин», ему всегда представлялся именно тот торфяной сарай. Еще в глазах застыли ямы-копанцы, где по колено в кофейной воде с лопатами в руках переводили дух печальный папа и злобно торжествующий Берл, похожий на выгнувшего спину ощерившегося уличного кота. Победный сарказм его относился, по-видимому, к тем нестойким элементам, которые брюзжали, что было бы выгоднее использовать их по специальности – тогда бы и они сумели заработать не только на воду с солью, – и даже собирались писать об этом товарищу Сталину. Не понимая, что именно этим и подрывают доверие к себе, да к тому же бросают тень и на самых стойких. Но ничего, товарищ Сталин сумеет отделить овец от козлиц!

Именно тогда у Бенци Давидана зародилась догадка, сделавшаяся центральной идеей творчества Бенциона Шамира: и человек, и народ могут жить лишь до тех пор, пока верят в какую-то сказку. И папина сказка была уже на исходе, а сказка Берла делала его силы, казалось, столь же неиссякаемыми, как запасы его крови, которую он все никак не мог израсходовать на бесконечные красные звезды, расплывающиеся у него по пятам в торфяных лужах. Оба они – и Берл, и папа – были одеты, как огонь, – впрочем, это

выражение, которое на языке блатных означало оборванцев, Бенци узнал уже в Архангельской области, в лагпункте... Ярцево? Ерцево? Или Ернево?..

Какое название гранитно врезалось в память – Няндома. На этой станции сняли с поезда тело Рахили, умершей от разрыва мочевого пузыря: еврейская принцесса не могла при всех «ходить» в ведро.

Родным даже не позволили вслед за нею выйти из товарного вагона. И то сказать – зачем разводить лишнюю суматоху? Бенци уже давно ничему не удивлялся, он только, съезжившись, пережидал, пока его еще так недавно благовоспитанная до чопорности мама, словно какая-нибудь билограйская стряпуха, раскачивается, воеет, рвет полуседые патлы...

У самой у нее, кстати, с ведром не возникало никаких осложнений: Бенци каждый раз спешил отвернуться, но однажды в его глазах все-таки успело навеки отпечататься, как она внимательно и даже словно бы рассудительно накрывает ведро своим широким подолом. У Бенци же сразу все пресекалось, чуть лишь ему начинало казаться, что на него смотрят. По серьезным делам он терпел, пока весь вагон не стихнет, а по малым, но, увы, неотложным, хоть бы вокруг рушилась вселенная, просовывал свою дудочку в щель меж вагонной стенкой и на пару сантиметров откатывающейся на наружной цепи тяжелой двери, рискуя нечаянно подвергнуться еще одному, гораздо более радикальному обрезанию. В глазах осталась бескрайняя снежная равнина и сбиваемая ледяным ветром одинокая струйка. Сопровождавшая вагон добрая русская тетка в солдатской шинели прикрывала его сзади, жалостливо приговаривая: «Сикай, сикай...» И печально размышляла сама с собой: «Хорошо ребятам, им везде можно... А вот девочкам...»

Она была такая душевная, что ее присутствие не перехватывало его крантик, как это бывало с остальными.

Хорошо хоть она спаслась, еще долго повторяла мама про Фаню, которой было позволено остаться с мужем. Бенцион Шамир и через пятьдесят лет в самых неожиданных ситуациях внезапно видел на внутреннем экране, как Фаня вслед за эшелонном бежит под насыпью, неумолимо отставая, отдаляясь, исчезая... Только в зрелые годы Бенци понял, какая она была обаяшка – ладненькая и одновременно пампушистая: у Бенциона Шамира мороз пробежал под его сединами, когда он внезапно узнал Фаню в знаменитой фигуристке Ирине Слуцкой.

Фаню расстреляли в июле сорок первого, вскоре после того как ударные части вермахта наконец-то форсировали билограйскую канаву. Как водится, всех подвернувшихся евреев при помощи местных активистов согнали на лесную поляну, там заставили выкопать не очень глубокий ров, затем каждому в порядке очереди произвели выстрел в затылок, затем закидали землей, которая, как водится, некоторое время продолжала шевелиться, затем при отступлении снова выкопали что осталось, уложили в штабель вперемешку с поленьями длиной в человеческий рост, затем облили дефицитным бензином – словом, рутина.

Что, интересно, случилось с ее мужем? Надежный был парень – наверно, тогда же и пал смертью храбрых у стен их новенького общежития младшего комсостава, которое казалось таким раем из этого... Ярцева? Ерцева? Название стерлось, а длинные бревенчатые бараки так на внутреннем экране по-прежнему и чернеют среди снежной белизны.

Бараки набивались слоями, словно кильки в консервную банку – братскую могилу, как эти банки с обычной своей недоброй меткостью именовали урки. Остаткам семейства Давидан, пожалуй, даже повезло, что их в числе трех десятков еврейских скитальцев разместили в небольшой кирпичной церкви без креста на ободранной до скелета маковке, откуда постоянно тянулся дым ни днем ни ночью не гаснущего костра, в первый же день разведенного на промерзлом каменном полу. Причуды пламени то выхватывали из тьмы, то снова возвращали ей на съедение какие-то согбенные фигуры на заиндевевших стенах, какие-то безумные лики с распахнутыми белыми глазами, которые никак не могла поглотить копоть, забивавшаяся всем в ноздри, втиравшаяся в мельчайшие морщинки,

скапливающаяся в уголках глаз, губ... Когда папа и Берл, вернувшись из леса, отогрели руки над адскими углями, Бенци казалось, что все они уже превратились в пещерных людей: Берл, чьи руки при ходьбе теперь почти уже чертили по снегу, совершенно утонул в косматой бороде, а папа, как ни тщился имитировать нестигаемость, в казенном бушлате без карманов и тряпочной шапке с болтающимися завязочками все равно не дотягивал даже до Чарли Чаплина из фильма «Золотая лихорадка».

День выглядел как багровое утро, а утро было неотличимо от ночи. Бенци и вообразить не мог, что оскаленные зубастые звезды могут так осатанело пылать на черном небе, словно пулевые пробоины в какой-то бескрайней топке. Под этими-то звездами, до предела сжавшиеся под прожигающим их отлепья морозом, нагружившись пилами и топорами, без конвоя – они не считались заключенными, а бежать здесь все равно было некуда, – бригада за бригадой еврейские лесорубы брели к черной стене леса, наставившего в пылающие дырки черного неба свои вершины, заостренные, как кремлевские башни, сбросившие с себя ненужные звездные украшения: красных звезд здесь и так хватало, их оставлял на снегу уже не один только Берл.

Клерикальных элементов среди еврейских колонизаторов уже не ощущалось – даже бдительному Берлу уже не попадалось никаких глупостей, вроде тфилин или талитов, – но элементов нестойких, шатких становилось все больше и больше – начиная с папы Давидана, которого шатало из стороны в сторону все более неотвратно. Да и сам нестигаемый скрюченный Берл передвигался зигзагами, а чугунная нога его лежала без движения. Работать по субботам пришлось с самого начала, но другое мрачное пророчество клерикалов, увы, так и не осуществилось – никто никакой свинины им не предлагал. Равно как и говядины, баранины и курятины. А тусклую ваксу так называемого хлеба выдавали согласно выработке.

Нормы не могла выполнить ни одна бригада начинающих лесорубов, не располагали они также ни одним из трех китов лагерного благополучия («блат, мат и туфта – три лагерных кита»). При этом из-за бессилия доходяг, вроде папы, срезбли пайку и сравнительно более крепким. У которых слабость вызывала не сострадание, а с каждым днем крепчавшую ненависть. Умерших жалели только самые близкие, но, кажется, и они особенно не интересовались, куда увозят трупы. Похоже, не мороз и не голод, а нескончаемая униженность добила Давидана-отца: из предмета общей любви, почитания и даже гордости превратиться в посмешище и паразита, никчемное существо даже для собственных детей...

Бенци старался не встречаться с ним глазами, чтобы папа не прочел в его взгляде, сколь ужасно и неузнаваемо он переменялся, а Шимон вообще стремился держаться подальше от впавших в ничтожество соплеменников. Он вращался в высшем обществе, играл в карты с урками и даже изредка делился выигрышем. Бенци так и не понял, почему одна часть уголовников ходит под конвоем, а другая разгуливает где попало, – он лишь старался держаться подальше и от тех, и от этих. Рассказывали, что они свободно могут проиграть в карты совершенно случайного человека, и Бенци никак не мог взять в толк, что за радость выигравшему от смерти бог знает кого. Только через много лет он понял, в чем тут сласть, – во власти над чужой жизнью и смертью. В ощущении собственной значительности. Потеря которой и убивала его отца.

Шимон разъяснил ему расшифровку слова «урка» – оно возникло сокращением слов «убийство», «разбой», «кража», аббревиатуру «урк», по словам Шимона, писали на личных делах рецидивистов, в отличие от «мужиков», которых официально именовали «бытовиками». Шимон же сообщил Бенци народную расшифровку магического ВКП(б) – воры, карманники, проститутки (бляди); народ этим как бы давал понять, что партийцы в его глазах не слишком отличаются от уроков, однако Шимон стремился походить все-таки на последних. Однажды Бенци заметил, как Шимон, думая, что его никто не видит, в отвесах костра любуется фалангами своих пальцев, на каждом из которых, по букве на палец, было выколото его русское имя С-Ё-М-А.

Друзей, тем не менее, у блатных не водилось: Шимон едва и впрямь не разорвал свою страшно престижную в здешней субкультуре тельняшку, подобно Муцию Сцеволе, он отдавал руку на сожжение, что он проиграл правый глаз и если до утра не заплатит... Он собственными, пока что двумя, глазами, видел ту финку, которой ему выколуют проигранное. Тогда-то закопченная лоснящаяся мама и добыла из своих пятнистых прожженных юбок заветное обручальное колечко.

* * *

Берл еще раз получил по горбу еловым хлыстом и теперь сплевывал не только красную слизь, но еще и какие-то кусочки разжеванной смородины. Однако все это лишь приближало завершение экзамена: всех, кто не согнулся, можно будет смело пропустить в Красный Сион – в тихоокеанскую Землю обетованную.

Зато папа, оставив в костер свой особенно пугавший Бенци страшно сосредоточенный и вместе с тем ничего не видящий взгляд, однажды вечером, неотличимым от ночи, словно с самим с собой, еле слышно заговорил с Берлом, не догадываясь, насколько здесь обострился слух у Бенци, постоянно прислушивавшегося к скрипу встречающих шагов, чтобы успеть вовремя отпрянуть в темноту.

– Для чего живет человек?.. – мертвым голосом рассуждал папа. – Для своей семьи?.. Но я для своей семьи ничего сделать не могу... Для своего народа?.. Но я только позорю свой народ... Подожди, не перебивай. Ницше писал о нас: судьба поставила евреев перед выбором – жить или погибнуть, и евреи ответили: жить любой ценой...

– И правильно! – свирепо прохрипел Берл. – Евреи и должны жить любой ценой! Чтобы пережить всех своих врагов, всех Гаманов и плюнуть на их могилу!

Берл с яростным торжеством плюнул, вопреки обыкновению, не в банку, которую ухитрился сберечь с идиллических манежных времен, а прямо в костер. Бенци показалось, что в холодном воздухе разнесся запах жареного мяса.

– Даже клерикалы так считают, – подбил Берл окончательный неопровержимый итог. – Еврей имеет право пойти на добровольную смерть, только когда его заставляют отказаться от веры. Только вера для еврея важнее жизни!

– Может быть, именно из-за этого нас больше всего и презирают?.. – опять, словно бы с самим собой, еле слышно откликнулся папа. – Может быть, нас больше уважали бы, если бы мы ставили выше жизни достоинство?

– Достоинство в том, чтобы победить, а не в том, чтобы сдохнуть! На радость врагам!

Берл харкнул в костер с такой силой, что оттуда взвилось облако искр и пепла.

– А может быть, – не сходил с какой-то тяжелой несдвигаемой мысли папа, – если бы мы бросили наши жизни нашим врагам в лицо, мы сделали бы легендой. А нашему народу красивая легенда о себе сейчас нужнее всего. А вот если мы просто издохнем, как животные...

– Но кто твои враги? – словно ребенка, принялся усовещивать папу Берл. – В Советском Союзе никто не желает тебе зла, Советский Союз сам ведет напряженную борьбу с капиталистическим окружением. И мы с тобой тоже занимаем какой-то окоп. А когда мы завоюем доверие, нас перебросят на наш собственный участок. Еврейский. Вот увидишь – скоро станет тепло, откроются дороги, и нас отправят в Биробиджан. Вот увидишь, осталось потерпеть совсем немного!

Прочность его сказки была беспредельной.

Вспоминая этот роковой вечер, Бенцион Шамир вновь и вновь задавал себе бесполезный вопрос: может быть, надо было подойти к папе сзади, обнять, прижаться, поклясться, что от него всем громадная польза... Но слишком очумелым он был тогда. И пришибленным. Кто он такой, чтобы чему-то учить папу?..

И слишком уж чесалась его чернокудрая голова. Он вообще постоянно был чем-то поглощен: то усердно – и в опорках, и в рукавах – шевелил пальцами, когда они начинали чересчур уж мучительно ныть от холода, то высматривал насекомых в расходящихся швах, то что-нибудь вынюхивал...

Странное дело, не было ни книг, ни развлечений, а все равно не помнилось, чтоб когда-нибудь было скучно. Даже маленькие радости бывали – вошебойка, например. Потеснишься голый в тепле, а потом получишь свое тряпье, скрюченное от жара, зато какое-то время можно не чесаться.

* * *

Папа рассек себе сонную артерию с виртуозностью одаренного хирурга – надрез был совсем небольшой, а мороженная кровь с бушлата отламывалась толстыми кривыми скорлупками, будто с огромного крашеного яйца. Процедура, правда, затянулась, по-видимому, надолго, потому что сидел папа на охапке лапника, и по кровавым узорам на снегу было видно, что лапник он собирал, уже выполнив свой снайперский надрез: бережно хранимый и ежевечерне подправляемый ланцет наконец-то пригодился для серьезного дела.

Если он выбрался наружу и сел под церковной стеной, чтобы потеря крови была поддержана морозом, то он все рассчитал правильно. Но если он хотел избавить родных от тягостного зрелища, то идея оказалась крайне неудачной. Его труп смерзся в сидячей позе до такой мраморной окоченелости, что явившиеся на чепэ три мордovorота – один в форме при красной звездочке, двое других в таких же черных бушлатах, как у папы, только новых – никак не могли его разогнуть, чтобы уложить на носилки. Недолго повозившись, они перевернули его лицом в снег, один зажал его бока между ног, а другой сел ему на поясницу и под осатанелыми звездами уминающе попрыгал своим широким стеганым задом.

* * *

А вернувшись в церковь, Бенци обнаружил, что и папин кожаный саквояжик наконец-то украден.

Ланцет же был немедленно изъят в качестве вещ-дока – Шимон уже в совершенстве владел господствующей терминологией.

* * *

Оттепель действительно принесла сначала войну, а потом освобождение: враг моего врага, глядишь, на что-нибудь да сгодится.

Сколько дней или месяцев влачили они по воюющей стране к месту нового назначения, Бенцион Шамир не мог бы сказать даже приблизительно. Взгляд Бенци в ту пору упирался в любой оказавшийся перед глазами предмет и без серьезного толчка извне больше уже не двигался. Поэтому тверже всего ему запомнился деревянный пол теплушки – махрящийся, неизменно рождающий представление о занозах. Но если перед ним оказывалась еда, он начинал жевать, если возникала непереносимая нужда, пробирался к ведру и каждый раз равнодушно отмечал, что, если бы Рахиль сумела дотерпеть до нынешнего лета, сейчас бы и она делала это наравне со всеми без всяких затруднений.

Вот что такое уродливая жизнь, тысячи раз возвращался к этой мысли писатель Шамир: в уродливой жизни людей начинают губить их достоинства – стыдливость, честь, храбрость... Впечатлительность... В те месяцы Бенци не мог думать ни о чем, кроме тоски, духоты, голода, жажды, – да и о них думать было нечего, нужно было только как-то их переносить. Если начинало казаться, что от нехватки многократно отработанного воздуха вот-вот потеряешь сознание, следовало подобраться поближе к окошку. Но если при этом упруешься в чью-то непреклонную спину, нужно было сдаваться и дышать тем, что досталось. Если становилось холодно, полагалось обнять себя вместе с коленями и хорошенько поджогать. Когда вагон раскалялся совсем уж нестерпимо, нужно было раздеваться, кому сколько позволяла его щепетильность. Многим она позволяла почти все, а кое-кому просто все.

Бенци равнодушно фиксировал, что некоторые женщины, несмотря на пережитый и переживаемый голод, оказались обвешаны многослойными складками. Пара парочек, полураздетых, обнимались, скользя друг по другу истекающими грязным потом телами, а третья совокуплялась, даже не дожидаясь темноты, лишь прикрыв рабочие части куском

мешковины, на которой было грубо намалевано белой масляной краской слово «карамель». Бенци уже вошел в возраст, когда подобные вещи вызывают неотвратимый интерес, однако в те дни, когда он пробегал по обнаженной плоти безразличным взглядом, на ум ему приходил единственный вопрос: если бы они так и заоченели в этой позе, как бы их стали высвобождать друг из друга, чтобы положить на носилки? Или так вместе бы и унесли?

Когда удавалось подышать у отъехавшей двери, иной раз на каком-нибудь зеленом взгорке ему попадалась на глаза церковь, кирпичная или оштукатуренная, в кровавых кирпичных звездах, и ему невольно представлялось скопление тел, шевелившихся там на полу. Их эшелон старались не задерживать на больших станциях, но все же нет-нет в дверной проем внезапно впрыгивали, гремели и пропадали неведомые перроны, забитые сидящими, лежащими, пробирающимися людьми – женщины, старики, младенцы, беззвучно разевающие орущие роты, – и во всем этом столпотворении Бенци не видел ничего особенного: с того дня, как он из билограйского дома попал в гудящее лежбище манежа, он уже успел понять, что жизнь теперь всегда будет такой. И запах прокисшего тряпья, давно уже никем не замечаемый, теперь тоже навеки воцарился в мире.

Не вспомнить, сколько пронеслось мимо дверной сцены гремучих встречных платформ с задранными в пустые небеса пушечными стволами, под одним из которых вечно отбивал в его памяти чечетку лихой красноармеец в пилотке со звездочкой, брызнувшей и растаявшей, как капелька крови. А однажды на неведомом полустанке в чудом павшей на минуту-другую ночной тиши ему послышался монотонный нескончаемый стон какого-то незримого хора. Это было так неожиданно, что спора, в которую свернулась его душа, на миг приоткрылась. Он выглянул во тьму и понял, что стон доносится из каменеющего напротив пассажирского поезда. Это был санитарный поезд. Он недвижно мерцал во тьме и стонал, стонал, стонал, стонал...

И вдруг нечеловеческий истошный вопль прижал Бенци к вонючему полу – это вопил паровоз, тщетно взывая к пустым небесам.

В другой раз беспощадным душным днем железнодорожная рулетка вновь свела их эшелон с санитарным поездом на безвестном степном разъезде. Бенци уже много часов покорно изнемогал от жажды и слышать способен был только журчание воды, струившейся где-то совсем рядом. Понимая, что это бесполезно, что за водой ринулись бы все со всеми кружками и плошками, он высунулся на обжигающее солнце и увидел, как из-под соседнего пассажирского вагона, из-под укывшейся за белесым стеклом уборной с легким журчанием стекает в лужицу на ржавом мазутном щебне струйка красного субботнего вина, какое в незапамятные, кажется, только приснившиеся времена благословлял увенчанный ермолкой Папа, считавший своим долгом свято блюсти народные обычаи, которые одни только, по его мнению, и могли противостоять ассимиляции. Бенци долго пялился на быстро уходящую в щебенку винную лужицу, пока не сообразил, что это не вино, а кровь. Вернее, вода, смешанная с кровью.

Кровь – это было серьезно, кровь заставляла себя уважать, а потому и видеть. И запоминать. Заставляла уважать себя и обмороженная рука Берла, которую он, сгорбившись над своей чугунной ногой, время от времени высвобождал из некогда белой, как и полагается подштанникам, а ныне ржаво-желтой пятнистой тряпки и озабоченно снимал с фиолетовой подушечки, обросшей, словно картофелина, кривыми отростками-сосисками, все новую и новую, никак не кончающуюся отстающую кожицу. Такие вещи проникали даже сквозь оболочку споры.

Трещинки в оболочке возникали редко и очень ненадолго, но все-таки возникали, и тогда в его памяти навеки отпечатывался то оглушительно грохочущий, размахивающий исполинскими руками железный мост над невообразимой ширью неведомой реки, то желтая кружащаяся степь с гонимыми раскаленным ветром клубками колючей проволоки и разворачивающимся редким строем потеющих смолой телеграфных столбов, на каждом из которых хохлился беркут, то бескрайняя плоская равнина, похожая на дно пересохшей

глинистой лужи, где впереди по движению ветер трепал лист газеты, может быть даже «Биробиджанской звезды», – но с приближением поезда лист тоже непрерывно отъезжал и все трепетал и трепетал впереди, все в том же отдалении.

Зато охел – домик, какие ставят на могилах особенно благочестивых покойников, – без обмана уплывал назад. Значит, и здесь уже когда-то были евреи, значит, мы не первые...

Но какие странные раньше водились люди – устраивали с мертвецами целые представления, сооружали какие-то домики, вместо того чтобы оттащить куда-нибудь подальше с глаз долой... У них в эшелоне и сейчас если у кого-то приключался жар или какой-нибудь нестандартный понос (тут этого не скроешь), то его выставляли на первой же остановке, чтоб других не заразил, а сами тащились дальше, а вопил и надрывно умолял и проклинал один лишь давным-давно безнадежно осипший паровоз, которого не могла утешить даже алая пятиконечная звездочка во лбу. Правда, теперь, если кому хотелось, можно было остаться с заболевшим. Однако не так уж много находилось охотников.

* * *

Казалось, польские вечные жида промчались и проползли через несколько стран и времен года – через страну лесов, через страну озер, через страну степей и пустынь, они пережили и лето, и осень, забирались даже в начинающуюся зиму, где насекомая напасть особенно жестоко была выжжена в бетонной вошебойке, напомнившей полузабытый манеж, и Бенци хотелось одного – чтобы это продолжалось вечно, чтобы не нужно было где-то снова начинать жить, то есть снова чего-то бояться, к чему-то привыкать.

Но пришлось. И ослепительное маленькое солнце из наглой лазури палило ничуть не менее устрашающе, чем оскаленные звезды из кромешной черноты – Ярцева?.. Ерцева?..

Бенци, стараясь ничего не видеть, спотыкаясь, натываясь, брел по издевательской жаре среди глиняных оград и был почти счастлив, когда наконец удалось опуститься на пятнистый, какими отныне сделались все тряпочные вещи, матрац, комкастый, как суп с клецками, и плоский, как собачья подстилка. Такими же матрацами был покрыт весь пол окончательно раздавливающей диковинностью своих узоров мечети. (Изразцы, изразцы – в каком позапрошлогодном сне он что-то похожее видел?.. А, ими была облеплена печь в неведомо когда промелькнувшем билограйском доме...)

Матрац при всей засаленности и испятнанности оставался полосатым, но тогда это еще не ассоциировалось с концлагерной робой, и Бенци безнадежно мечтал, протерши среди комков относительно нигде не выпирающую ямку, больше никогда не подниматься с этого матраца, до конца своих дней не выходить из-под этих ужасных, но, по крайней мере, одних и тех же сводов. Голод, холод, духота, вонь – вещи, конечно, не самые приятные, но в сравнении с необходимостью что-то предпринимать, с кем-то сталкиваться, что-то решать это просто родной билограйский дом с белой скатертью, бронзовыми подсвечниками на шестиконечных звездах, доброй благовоспитанной Мамой и мудрым благородным Папой.

Даже и не вдумываясь специально (эту способность он утратил), Бенци ясно понимал, что если хозяева страны живут вповалку на перронах и в исходящих стоном и кровью поездах, то пришельцам тем более рассчитывать не на что. Поэтому новую степень голода – предоставив еврейским скитальцам частичную свободу, советская власть освободила и себя от большей части и без того немногочисленных обязанностей по отношению к ним – Бенци воспринял с полной покорностью: главное, чтобы не заставляли двигаться, что-то делать, что-то решать.

Так бы и просидеть всю свою жизнь, никуда не выглядывая... Однако пришлось.

Кажется, мама тоже пыталась его тормозить, но, видно, он ощущал ее существом слишком уж незначительным, у которого невозможно разжиться ни хлебом, ни волей. А вот у Шимона было и то и другое.

Он выволок Бенци на овевающий теплом страшный осенний воздух под страшное сияющее небо, от которого нигде не предвиделось спасения, буквально за шиворот – не было воли сопротивляться, да к тому же шиворот и так едва держался на перепревших нитках.

– Посмотри, как торчат, – с усмешкой показал Шимон на изразцовые минареты, – теперь я понял, почему у меня здесь всегда с утра стоит, а в лагпункте не стоял. Теперь всегда пример над головой.

У них в билограйском доме подобные шутки были совершенно невыносимы, но с исчезнувшим домом Шимон-то и хотел покончить... Бенци растянул отвыкшие губы, понимая, что чужим людям лучше показывать улыбку, если им кажется, что они сказали что-то смешное.

Шимон уже давно говорил только по-русски, на языке хозяев жизни. Он и смотрелся почти что одним из них – в дырявой тельняшке и надвинутой на смоляную бровь пилотке с царственной красной звездой, из-под которой струился смоляной слипшийся чуб – Шимон-Казак, в отличие от Бенци, не позволил остричь себя, как овцу, ради какой-то там борьбы с завшивленностью.

– Помнишь, Маймонид учил евреев не заходить в чужие храмы? Что бы он сейчас запел? Потребовал бы, чтобы мы под забором ночевали? Русские свои церкви позакрывали и правильно сделали – чего дармоедов кормить? Хотя... – Шимон качнул чубом в сторону двухэтажного желтого дома с пятиконечной звездой на крыше. – У них тоже свои ксендзы есть.

– А кого распяли на этой звезде? – без особого интереса поинтересовался Бенци, и Шимон, хмыкнув, задумался.

– Не знаю, Ленина не распинали... Может, всех нас?

И тут же поправился:

– Всех вас. А я распинаться не собираюсь.

Здание внушительно возвышалось над плоскими глиняными крышами; с его фасада с мудрой хитринкой вглядывались огромный Ленин и огромный Сталин. Под ними белым по красному разворачивался призыв к земле, которая должна была гореть под ногами оккупантов, но Бенци уже привык относиться к лозунгам как к деталям пейзажа и слов их не запоминал. Он и в лагпункте так ни разу и не вчитался в плакат, по которому проходили шаткие лесорубы, – что-то про труд, доблесть и геройство. Он и взывающую со всех стен Родину-мать запомнил очень смутно – не к нему она взывала.

– Чучмеки всех малюют на себя похожими, – по-хозяйски указал на владык Шимон своей залихватски изогнутой бровью.

Бенцион Шамир и поныне не ведал в точности, к какой национальности принадлежали коренные обитатели районного центра Партиябад, куда остатки семейства Давидан были заброшены скитальческой судьбой. Бритоголовый уполномоченный в кителе без погон, занимавшийся беженцами, называл местных жителей нацменами, но Шимону, очевидно, было известно более точное название. Один из чучмеков в расшитой серебром черной ермолке и халате, от которого рябило в глазах, ехал им навстречу меж изрытых глиняных оград на серенькой ушастой лошадке, хитроглазой, как Ленин и Сталин вместе взятые. За ним открывались глиняные не то горы, не то холмы, испятнанные кустарниками, напоминающие облезлых исполинских леопардов.

– Ишак поехал на ишаке, – прокомментировал Шимон. – Ты не поверишь, у них эти халаты стеганые – на вате! Чтоб лучше потеть. Представляешь, какие они вонючие?

Бенци скучно пожал плечами – мы-то, что ли, лучше?... Да и какая разница – вонючие, не вонючие... Скользнула лишь безразличная мысль, что те штаны, которые прыгали на откнувшемся лицом в снег скрюченном папе, тоже были стеганые, на вате.

– Давай, шевели ногами, – тащил его по дышащему теплом глиняному коридору Шимон. – Сейчас увидишь, что такое восточный базар – таких арбузов и в Варшаве не найдешь!

Арбузы... Дико вспомнить, каким праздником казалась в Билограе эта чепуха, красная вода... Вроде той, что журчала из вагонного туалета. А на хлеб и смотреть не хотели...

– У них и хлеба полно, лепешки пачками, сейчас сам увидишь – хватай и рви корочки. Урюки такие фраера, vareжку раззвят...

Слушая Шимона, Бенци с едва заметным повышением градуса безнадежности понимал, насколько ему еще далеко до настоящего овладения русским языком.

Но вообще-то ему и это было все равно. С кем ему разговаривать?..

Однако базар неожиданно поразил его. Во-первых, давно забытым доброжелательным гомоном, а во-вторых – красками. Горы арбузов, зеленых, как ряска, пирамиды помидоров, алых, как кровь, подносы винограда, золотого, как мед, били по глазам, пробивали до души, будоражили скукоженные воспоминания. Подходи, не стесняйся, клади денги и кушай от души, смеясь золотыми зубами, зазывали чучмеки в расшитых ермолках, смотри, какой диня, можно пушка заряжать!

Дыня и впрямь была неправдоподобно громадная – в мелкую трещинку, как Папин саквояжик...

Нельзя сказать, что воспоминание причинило Бенци какую-то особенную боль, но почему-то впервые за много месяцев слезы сами собой покатались из глаз, словно кто-то где-то приоткрыл крантик.

– Ну, опять включил свою капельницу... – сдвинул смоляные брови под красной звездой Шимон. – Ты что, всю жизнь собираешься пронюнить? Погляди, сколько здесь народу без рук, без ног, без глаз – и ничего, никто не скулит!

Меж длинными столами, заваленными горами неуместно праздничной чепухи, и впрямь в немалом количестве пробирались люди, чьи головы, шеи, руки, подвешенные на шее, ноги, несомые перед собой на костылях, были обмотаны несвежими, но все же почище берловских бинтами. Это те, кому повезло. А кому повезло меньше, тем и нести было нечего – разве что пустые рукава, приколотые к плечу, пустые штанины, пристегнутые к поясу, пустые глазницы, заткнутые комком завернутой в марлю ваты: война шла считанные месяцы, а тыловой базар был уже наводнен ее продукцией – кто-то, может, и из того самого стонущего поезда.

Однако никто и правда не думал скулить, все были оживлены, многие смеялись, обряженные в невиданную помесь затрепанных армейских штанов, гимнастерок и полосатых пижам (тоже еще не ассоциировавшихся с Треблинкой и Освенцимом). И под оболочкой споры шевельнулось что-то похожее на недоумение, даже на предчувствие, что он вот-вот поймет что-то очень важное. Но его отвлекло большое обваренное лицо, глядящее сквозь толпу розовыми полированными ямками вместо глаз. Лицо тоже не плакало, это Бенци хорошо рассмотрел и запомнил. Правда, ему и нечем было, и Бенци безнадежно ему позавидовал: теперь уже никто ничего с него не потребует, сиди себе до окончания жизни, и даже глаза закрывать уже не надо...

Несмотря на тесноту, на всеобщую поношенность, народ наградил слепца кружком пустоты, набросал в лежащую перед ним фуражку мятых советских денег, – и, казалось, никого не угнетала та очевидная мысль, что, может быть, ему самому скоро предстоит сидеть в таком же кружке с полированными ямками вместо глаз, а то и вовсе исчезнуть, чего почему-то никому не хочется, – ведь вся война еще, собственно, впереди. Да и будет ли теперь что-нибудь когда-нибудь, кроме войны?..

Может быть, русские потому такие бесстрашные, а чучмеки такие добродушные, что они у себя дома?.. А он, Бенци, теперь до конца своих дней обречен быть бездомным. Они часть какого-то могучего и бессмертного «мы», а он навеки одинокая пылинка... Бенциону Шамиру казалось, что он это чувствовал уже тогда.

В соседнем кружке лихо отшлепывал чечетку босыми пятками по глиняной пыли сверкающий белыми зубами и черными глазами развевающийся цыганенок, точно такой же, как в Билограе. Он радостно выкрикивал какую-то песенку: «Лейтенантик молодой...» Этот везде дома, потому что, на его счастье, никогда никакого дома и не пробовал.

Смотри, тандыр (или тандур?), привел Бенци в чувство Шимон, больновато ткнув его локтем в бок. Бенци очнулся и увидел нечеловечески огромный кувшин, до половины погруженный в пламя. Два жизнерадостных нацмена прямо здесь же раскатывали круглые лепешки из сырого теста, а потом, перегнувшись, прилепывали их к внутренней стенке своего безумного сосуда. И специальной палкой с гвоздем добывали уже готовые, с прожженными дырочками, укладывая друг в дружку, словно шляпы в варшавском магазине.

– Щас я этих урюков пощипаю... – как бы между прочим обронил Шимон и снова больновато потыкал Бенци в бок своим острым локтем: – Смотри, щас будет козью ножку вертеть...

Шимон показал на красноармейца, уютно сидевшего на перевернутом ведре. Укутанной в серые бинты головой он напоминал курносенького младенца, вынесенного на мороз подышать свежим воздухом, но линияялая военная форма, только без ремня и без сапог, замененных шлепанцами на босу ногу, тут же без остатка смывала это сходство. А пристегнутый к плечу пустой рукав заставлял окончательно забыть о нелепой ассоциации.

Никаких коз поблизости не просматривалось, перед раненым распростерлась только газета «Звезда Востока», придавленная стаканом крупного табака, цветом напоминавшего сухой укроп на канувшем в небытие подоконнике Берла.

– Махру толкает, – так же непонятно пояснил Шимон и снова больно потыкал локтем в бок: – Зырь, зырь!..

Ничего не понять. Но собравшаяся публика явно ждала какого-то номера, и он начался. Прилепнув газету тапком, фокусник оторвал от нее на диво аккуратный квадрат, щепоткой просыпал по нему мохнатую табачную дорожку, осторожно поднес к губам, вдохновенным движением провел языком по краю и с каким-то неуловимым использованием колена свернул трубочку; затем забросил ее в рот, загнул уголком – и кто-то из поклонников уже тянул ему зажженную спичку.

Виртуоз блаженно затянулся, публика заплодировала. Эта газетная трубочка, понял Бенци, и звалась козьей ножкой.

– Ему в госпитале, кто не курит, собирают допта-бак, а на выручку он берет на всю шоблу первача. Знаешь, зачем у галифе эти пузыри по бокам? В одну суешь одну бутылку, в другой – другую. Слышал песню: три танкиста выпили по триста, а водитель выпил восемьсот? Ты запоминай: пока все на него пелятся, и надо брать кассу. Учись, пока я жив!

Шимон полосатой молнией метнулся к «тандыру» и с лепешкой в руке молниеносно нырнул в... Но табачный торговец, почти не меняя своей уютной позы, чуть привстал с ведра, протянул ногу в тапке – и Шимон уже лежал лицом в глиняной пыли, а торговец стоял коленом на его тельняшке, завернув за спину полосатую руку с лепешкой. Бенци и через полвека казалось, что он и здесь продолжал мечтательно попыхивать своей газетной трубочкой.

Еще мгновение – и толпа сомкнулась вокруг них.

Может быть, нужно было броситься на эти спины, закричать, что это его брат, что он больше не будет?.. Кто знает, может, и сработало бы... Но Бенци в ту пору ощущал людей такой же неодушевленной стихией, как жара, ветер, пыль: не станешь ведь умолять солнце, чтобы оно не жгло, не станешь просить ветер и пыль, чтобы они не набивались под веки!..

Да и раздумывать было некогда – толпу уже расталкивала стихия еще более неумолимая – военный патруль с винтовками через плечо.

Покрытый глиняной пылью орлиный нос Шимона горел арбузной ссадиной, две струйки помидорной крови бежали из него по глиняным руслам на разодранную пыльную тельняшку; пилотки не было, в рассыпавшийся казацкий чуб пыль была втерта так, словно об него вытирали ноги. Бледный как мертвец, затравленно озираясь, Шимон клятвенно

твердил срывающимся голосом: сука буду, не брал, глаз даю, не брал... Но конвой, как и положено стихиям, оставался глух и нем.

На Бенци Шимон даже не глянул, и Бенци тоже не пытался посылать Шимону какие-то сигналы – в нем уже давно отмерли все не приносящие пользы порывы. Ужаснуть его что-либо, не представляющее непосредственной опасности, тоже не могло, но Бенциону Шамиру теперь казалось, что самым ужасным он ощущал общую радостную приподнятость – все обменивались радостными впечатлениями, словно где-нибудь в лесу завалили матерого кабана.

Главным героем, естественно, был тот, кто свалил зверя. Старый разведчик, старый разведчик, восхищенно повторяли все друг другу, хотя победитель Шимона был совсем не старый – он и из детских бинтов своих посматривал с совершенно детской гордостью.

– Чего смотришь, пацан? – что-то углядел он в глазах Бенци. – Этих шакалов только так и учить! По законам военного времени! Хочешь докурить? – протянул он Бенци свою козью ножку, но Бенци замотал головой с невольным ужасом: его ужаснуло, догадывался Бенцион Шамир, подступающее понимание того, что мучить и убивать друг друга могут не только какие-то чудовища, но и самые что ни на есть милые люди. Смотря какая сказка ими овладеет, тысячи раз повторял Бенцион Шамир. А вообще-то людей превращает в чудовищ чаще всего страх друг перед другом.

– Не хошь как хошь, налетай, братва, подешевело, турецкий табачок, сорт «Казбек»!

Старый разведчик на все просьбы отвечал прибаутками: просили добавить – он обещал: «Прокурор добавит!», просили попробовать – предостерегал: «Одна попробовала – семерых родила».

Жизнь сомкнулась над Шимоном даже не злорадным торжеством – жизнерадостным забвением.

* * *

Исчезновение Шимона мама тоже приняла на удивление легко: в последнее время она могла говорить только о том, что им в ближайшие недели предстоит голодная смерть. И говорила она об этом без всяких признаков отчаяния, а с какой-то хозяйственной хлопотливостью – непременно прибавляя: ну, за Шимона беспокоиться нечего, он теперь на государственном обеспечении. И так же неизменно задерживала взгляд на Бенци, как бы примеривая и к нему ту же участь. Однако ее тяжелый вздох каждый раз показывал, что она снова убедилась в его полной непригодности для какого бы то ни было карьерного роста.

И, стало быть, в его обреченности. Но походило на то, что эта мысль уже не могла ужаснуть ее намного сильнее, чем самого Бенци – в котором она пробуждала лишь чисто умственное понимание, что надо бы что-то предпринять. Для начала хотя бы перепугаться.

Однако перепугаться никак не удавалось – во время дезинфекций Бенци разве что с некоторым любопытством оглядывал свои голые ноги, все больше и больше напоминающие куриные, свой голый живот, все больше и больше напоминающий живот беременной тетки, которая постоянно попадалась ему на глаза в вошебойке, не проводившей особых границ между полами, как не вдавались в подобные мелочи и сами вши. Пожалуй, это ее не по дням, а по неделям растущий купол, белый с темными подпалинами, был единственным предметом, вызывавшим у него сколько-нибудь осознанную брезгливость: без всего остального – без вшей, без общего сортира – обойтись было нельзя, а без этого можно, это было выбрано по доброй воле.

Бенцион Шамир решительно не мог вспомнить, какой безвестный гений дал матери этот спасительный совет, для ее собственного хитроумия явно недоступный: она привела его в детский дом и объявила приبلудившимся сиротой, кормить которого некому – что хотите, то с ним и делайте. И поспешно удалилась, прежде чем ей успели что-то ответить, так что директрисе пришлось бы именно что гнать его на глиняную улицу на глазах у доброго товарища Сталина, поднявшего на руки девочку-нацменку.

Вряд ли это могло быть на самом деле, но директриса, холодно блистающая литой, как ложка, алюминиевой сединой, теперь представлялась Бенциону Шамиру затянутой в португепю с брезентовым ремнем, на пряжке которого была выдавлена пятиконечная звезда.

Заслышав ее чеканный шаг, он заранее вытягивался в струнку у белой стены и покорно подставлял свою тюремную стрижку в арбузных пятнах зеленки для беглого, но внимательного просмотра. Затем она заглядывала в уши, за серый шиворот, и, только сделавшись совсем взрослым, Бенци понял, что это был не очередной урок покорности, а забота: директриса самоотверженно боролась и кое-как справлялась и с педикулезом, и с недоеданием. Однако Бенци не мог разделить общего восторга, когда им на обед в алюминиевые миски шлепнули по ложке той самой свинины, которой так долго запугивали клерикалы. Это была шефская армейская тушенка, и Бенци хотя и с содроганием, но беспрекословно проглотил ее вместе с перловой кашей, именуемой «шрапнелью», – кто он был такой, чтобы хоть в чем-то иметь свой вкус!

В нем уже давно не осталось даже искорки достоинства – веры в ту сказку, которая только и делает человека человеком, веры в то, что он чем-то отличается от переполняющего мир нагромождения неодушевленных предметов, что он создан для чего-то более высокого, нежели битва за пропитание и ловля вшей, что с ним нельзя поступать так же, как с курицей, которую режут к обеду, или с мокрицей, которую брезгливо прихлопывают подошвой: мир убедительнейшим образом продемонстрировал ему, что с ним можно делать ВСЕ.

Поэтому он никогда не смел поднять глаза на соседей по огромной серой спальне, по пропахшей капустой столовой, по разновозрастному классу – маячили в памяти только какие-то серые силуэты, расцвеченные исключительно пятнами зеленки да двуххвостыми красными галстуками (какой ради единообразия повязали и ему). Хотя это были в подавляющем большинстве просто несчастные дети, так же, как и он, потерявшие кормильцев в столкновении грандиозных сказок века электричества и квантовой механики. Правда, среди них постоянно рыскали несколько уличных крысят, обещавших в будущем сделаться по-настоящему опасными гиенами. Особенный трепет ему внушал белесый Хиляниченко по кличке Хиля, как и сам Бенци, покрытый фурункулами, посвечивающими из-под зеленки своими гнойными кратерами. Хиля был старше прочих, белесая глиста в сером, всегда разговаривавшая как бы через неохоту, скрипучим потягивающимся голосом и отнимавшая у младших припасенные корочки так, словно бы делая им некое презрительное одолжение. Любимым развлечением у него было, тяготясь перекидываясь словом с кем-то через плечо, внезапно сделать как бы взволнованный жест, чтоб как бы нечаянно захватить кому-нибудь по физиономии тыльной стороной ладони, покрытой серыми цыпками. Все у него было «как бы». Как бы в рассеянности он любил душить кого-нибудь подмышкой, а однажды Бенци сквозь слезы, еще загодя выжатые из глаз пронзительной вонью вечношипящей хлорной извести, увидел в многодырном глиняном сортире, как неотличимый от прочих испятнанный зеленкой сосунок сосет у Хиля его страшный, как будто бы тоже покрытый цыпками серый член, и Бенци, словно ожегшись, шарахнулся назад, чтоб и его не заставили делать то же самое. Он понимал, что отказаться не посмеет – кто он такой, чтобы от чего-то оказываться...

На Бенцино счастье, Хиля его не замечал как инфузорию слишком уж микроскопическую: Бенци и учился хуже всех, вернее сказать, даже вовсе не учился, а только делал вид, будто пытается читать чужие страшные книги, написанные чужими страшными буквами, будто пытается писать эти страшные буквы в чужих страшных тетрадах в чужую страшную клетку под чужими страшными картинками на обложке. «Как ныне собирается вещей Олег», – гласила бессмыслица под одним неизвестно к чему относящимся рисунком...

Бенци даже и не пробовал что-то понимать, ибо понимал слишком хорошо, что в новой жизни все это больше никогда и никому не понадобится, и, совсем еще недавно без трех минут вундеркинд, всех восхищавший хваткой памятью и быстрой смышленостью, он наверняка оставил по себе тусклый и кратковременный след как умственно отсталый польский беспризорник-цыганенок, временно перекрещенный в Веню.

Этот образ больше всего и устраивал Бенци: лучше всего быть незаметным безвредным моллюском, когда с дерзким прищуром из-под золотистой косой челки, невероятно аристократической среди испятнанных зеленкой тюремных ежиков, обдавая ветром распахнутой солдатской шинели, гордо расправив цыплячью грудь, казавшуюся тогда несокрушимой, как форштевень дредноута, проносился мимо Витька Гонов по кличке Гончик, оставляя за собой восторженный шепот или потупленные косые взгляды. В присутствии Гончика даже Хиля старался на всякий случай никого не душить, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. У них даже финки были разные – у Хили какой-то неопрятный обрезок заточенной пилы с обмотанной серой изоляционной лентой хватательной частью, а у Гончика сияющий обоюдоострый клинок-мини-шпага с многослойной рукояткой, ошарашивающе праздничной и разноцветной, словно фруктовый ряд на базаре. Пластинки, из которых набиралась рукоятка, назывались «пластиглас».

Интересно, что девочек он совсем не помнил, ибо опасности они не представляли. Маленькие нацменки на улицах хотя бы отличались бахромой сверкающих черных косичек, а детдомовские девочки и стрижены-то были по-мальчишески, то есть по-тюремному, и зеленкой испятнаны ничуть не менее щедро.

Бенци и впрямь сделался чем-то вроде улитки, а потому и не помнил ничего, кроме дорожек, по которым он переползал, стараясь не сворачивать попусту, из спальни в класс, из класса в столовую. И все же он бессознательно тянулся к тем, кто еще помнил его человеком, кто хоть как-то выделял его из того коловращения неодушевленных тел, которое и было подлинной жизнью.

С матерью ему встречаться было нельзя, чтобы не догадаться об их родстве, – разве что совсем редко и на бегу. Но вскоре даже и это сделалось почти невозможным, ибо, освободившись от Бенци, мама, словно избавившись от балласта, стремительно взлетела в высший свет районного центра. Сначала кто-то из партийно-торговой знати пригласил ее давать уроки немецкого языка на черный день, намереваясь, если пожелает злая судьба, сделаться фронтовым переводчиком, а если судьба окажется совсем уж свирепой, упростить работу немецких переводчиков. Мама взялась за дело с таким успехом, что даже вошла в кратковременную моду, пока какой-то добрый человек из райотдела энкавэдэ не посоветовал как можно скорее прекратить прогерманскую пропаганду.

Однако за это время мама успела обзавестись знакомствами, отмылась, чуточку отъелась, переделалась в дареное платье и, несмотря на внезапно проступившую путаницу седины, сделалась почти неотличимой от немногочисленных светских дам Партиябада. Она перешла на уроки музыки и французского и даже обзавелась собственным топчаном в коридоре за занавеской в доме настолько изысканном, что Бенци достаточно было заглянуть туда одним глазком, чтобы понять все неприличие своего здесь появления (теперь он и порог своего билограйского отчего дома ни за что не посмел бы переступить). Самое большее, что удавалось маме, – изредка с оглядкой подловить его за оградой детдома (мама вполне серьезно верила, что за обман ее посадят в тюрьму, – а впрочем, кто их и в самом деле знает...) и незаметно сунуть два-три странных чужестранных печеньца, зачем-то исколотых советскими иглами: Бенци уже успел привыкнуть, что вещи прокалывают только во время обыска.

Короче говоря, последним зеркалом, в котором Бенци еще напоминал себе человека, оставался лишь его старый друг Берл.

* * *

Поскольку это явно не сулило никакой пользы, Бенци и в голову не пришло поинтересоваться, кому принадлежали те козы и пара верблюдов, за которыми был приставлен наблюдать его единственный друг. Бенци было достаточно знать, что в глиняном лабиринте, ведущем к Берлу, каждый раз нужно было сворачивать в ту сторону, откуда во время дождя сбегаются ручьи. Поэтому в сухую погоду он и не пытался разыскивать старого друга, но, к счастью, дождь в эту зиму, частенько смешанный с раскисшим снегом, принимался молотить по головам по несколько раз в день, а мокрые ноги для Бенци теперь были столь же естественным ощущением, как еще недавно зуд во всем теле. В дождь Берл вместе со своими козами забирался под длинный навес на краю глиняного ущелья, пугающе величественного для вьющегося по его дну ручья, именуемого Арык, – который во время ливней, однако, впечатляюще вздувал свои грозные грязные мускулы; чтобы согреться – как там, у пограничной речки... – Берл забивался в козье стадо, нервно переступающее своими козьими ножками, и, если бы не красные горящие глаза, его, кудлатого-бородатого, вполне можно было принять за безрогого вожака козьего стада, а проще говоря – дикого козла.

Верблюды же, небрежно свесившие куда придется рыжие мохнатые горбы, до навеса не унижались, продолжая надменно взирать поверх всего земного, которое они лишь в исключительных случаях достаивали несмываемого плевка, в вечной боевой готовности свисающего с вечно жующих губ вечной гроздью вечнозеленой пены. Верблюды настолько не желали замечать, куда ступают, что Бенци в первую встречу даже спросил Берла, не боится ли он своих горбатых подопечных.

– Зачем мне их бояться? – азартно фыркнул Берл. – Я горбатый, и они горбатые! Пастырь должен быть похож на свою паству! Вернулись дни Авраама и стад его. Но ты должен понять, что верблюд в Азии – важное транспортное средство! Я имею полное право считать себя работником тыла. Кующим продовольственную базу фронта.

Теперь Берл читал еще более прокуренную и ворсистую, чем «Биробиджанская звезда», районную газету «Звезда Востока», черное имя которой подсвечивалось черной же пятиконечной звездой, испускавшей коротенькие черные лучики. Звезда испускала свой черный свет с макушки острой башни, наверняка кремлевской, хотя настоящие кремлевские звезды явно светили с запада, а не с востока.

Считая себя работником транспорта, Берл тем не менее не расставался и со своей верной чугунной ногой, накрепко усвоив жалобу какого-то биробиджанского рабкора на то, что рабочему человеку негде подбить каблук.

– Осталось перетерпеть последнюю зиму, – напористо внушал он Бенци. – Весной нас обязательно отправят в Биробиджан. Зимы там суровые, всех сразу не разместить. А за лето мы сами выстроим себе дома. Только бы здоровье не подвело...

Он озабоченно изучал последнюю отхаркнутую звезду и удовлетворенно констатировал, что она заметно светлее предыдущей: та была как спелый арбуз, а эта уже как неспелый. Зато рука, окончательно превратившаяся в фиолетовую картофелину с пятью отростками, никак не желала светлеть. Ее бросало из лилового в малиновый, из малинового в пурпурный, а однажды бывшая штанина открыла самую настоящую черноту, непроглядную, как ночное полярное небо, на котором недоставало лишь оскаленных пробоин во всемирную пылающую топку. И Берл впервые за их бесконечные годы знакомства не пытался хорохориться, но просто сидел среди безучастных коз, выпятив горб и бессильно свесив кудлатую грязно-седую голову, заговаривался и трясся всем своим деформированным телом. «Бори... Бери... Бире... Бид-жан», – повторял безумец.

Однако на другой же день после срочной ампутации он, едва шевеля языком, выразил чувство гордости оттого, что он лежит в одной палате с настоящими ранеными и руку, в сущности, он тоже потерял на фронте – трудовом. Вся его кудлатость была обрита, впервые открыв для обозрения его заостренный череп, на котором оставили вмятины огромные пальцы бросившего изделие на полдороге нетерпеливого создателя. Берл

выглядел неправдоподобно помолодевшим, только нечеловечески белым, белым даже не как мертвец – те-то все были чумазые, – а как... Впрочем, может быть, так и должен выглядеть приличный покойник, умирающий в собственной постели?

Смерть Берла вызывала у Бенциона Шамира, пожалуй, самые серьезные сомнения: когда персонажи последовательно умирают один за другим, это в конце концов начинает производить комическое впечатление. Как в том еврейском анекдоте: молодой человек женится на старшей из трех сестер – Хае; Хая умирает. Погоревав, он женится на следующей – Циле; Циля тоже умирает. Тогда он берет последнюю, Риву, – и через месяц снова возвращается к ее родителям и разводит руками: вы будете смеяться, но Рива тоже умерла.

Спору нет, смешно. Но что же делать, если все именно так и было?

Что же делать, если на четвертый день белоснежный однорукий Берл, погрузив свой горб меж двух кип сплюснутых подушек, еле слышно посетовал, что, подобно Моисею, умирает на рубеже Земли обетованной, а затем извлек из-под свекольной дерюжки одеяла свой недожеванный каким-то чудовищем фамильный портсигар старинного серебра и попросил своего единственного друга, когда тот наконец попадет в Красный Сион, сдать портсигар в фонд поддержки биробиджанских вдов и сирот, а фотографию его семьи (Берл то и дело заговаривался) положить у подножия памятника товарищу Сталину как дар благодарных евреев-трудящихся всего мира вождю мирового пролетариата.

Самая же последняя просьба Берла была обращена к починявшему оконный шпингалет хромому слесарю, поскольку именно он оказался ближайшим человеком в белом халате. Берл просил, чтобы его погребли там же, где хоронили всех, кто умер от ран, и поставили на его могиле такую же пирамидку с красной звездой на макушке – он уже давно себе такую присмотрел. Растерянный слесарь обещал и обещание свое исполнил.

Но это случилось лишь на следующий день, а в то т вечер , когда ничего не соображающий Бенци с портсигаром в руках добрался до детского дома, в темном коридоре его встретил Хиля и, втолкнув его в пустую темную столовую (на ночь администрация вывинчивала лампочки, остающиеся вне зоны контроля), вырвал портсигар и закатил такую профилактическую затрещину, что, когда Бенци сумел подняться на ноги, он уже окончательно не мог ощущать ничего, кроме заполнившего всю вселенную электрического звона.

Однако какой-то механизм в нем все-таки продолжал действовать. Он перевалился через раздаточное окошко в темную кухню, на цинковом столе нашарил полусъеденный временем нож с мокрой деревянной рукояткой, сел у издыхающей плиты и, взявшись одной рукой за рукоятку, а другой за лезвие, острым, как кремлевские башни, кончиком, изо всех сил зажмурившись, сделал как можно более короткий и глубокий надрез на шее.

Не сдержал сдавленного мычания, которое сквозь поднебесный звон и сам едва расслышал, и принялся ждать.

Однако время тянулось невыносимо медленно, уже через минуту ему показалось, что вот-вот забрезжит утро.

Новый надрез, новое мычание.

И снова невыносимое ожидание.

Каждые две секунды он пробовал рукой – какая-то мокрость усиливалась, уже текло за шиворот, но ему требовалось быстрее, быстрее...

И он, вдыхая запах пареной капусты, резал и мычал, резал и мычал.

Но резал только с одной стороны, чтоб было как у папы.

* * *

– Эй, это кто тут?.. Ты чего тут делаешь?..

Вспышка осветила просунувшуюся в раздаточное окно голову, и, если бы Бенци был способен чему-то изумляться, он бы обомлел: это был Шимон. Только казачий чуб его в отсветах мечущегося пламени был совсем золотой.

Бенци никогда не осмеливался поднять взгляд на Гончика даже сбоку, а потому не подозревал, что он такой же горбоносый, как Шимон.

Пламя погасло, послышался тигриный прыжок. Затем пламя снова вспыхнуло у самых его глаз.

– Нниххерра себе!.. Ты чего это с собой сделал? Какой портсигар?.. Ты чего – из-за портсигара?! Вообще, что ли, охренел?! Что за портсигар-то?.. Кого-кого? Это батю твоего, что ли, так звать? Ну, понятно... Только зачем себя-то пороть?

Меняя спички, Гончик какой-то кухонной тряпкой обмотал Бенци шею и двумя руками под зад выпихнул его обратно в раздаточное окошко. По-прежнему ничего не соображая, Бенци лишь старался не отстать от мотающихся черных крыльев шинели своего спасителя.

От света, ударившего в лицо, Бенци снова качнулся, как от новой затрешины. Хиля праздновал удачу – Бенци в первый и последний раз видел его таким веселым: забыв о своей всегдашней тоскливой скрипучести, он припрыгивал задницей на койке, шлепая себя по ляжкам в такт частушке:

Если бы нам Гитлера поймать, да-да,

Знали б мы его как наказать, да-да,

Привязали б ж... й к пушке,

Х... м били по макушке,

Чтобы знал, как с нами воевать, да-да.

Запавшие в его память песенки, анекдоты, загадки о немцах вообще и о Гитлере в частности у Бенциона Шамира не оставляли сомнений, что всенародная ненависть к Гитлеру не была пропагандистской имитацией. Но, вспоминая Хиля частушку, он каждый раз дивился, насколько мягкую кару для него изыскало народное воображение.

Гончик стал перед Хилей, неумолимый как судьба.

– Портсигар, – после подобающей паузы распорядился он и постучал указательным пальцем по раскрытой ладони: – Ложи об это место.

Хиля немедленно вернулся в свою тоскливую скрипучесть.

– Да нахх... На х... он мне обоср... ся, этот портсигар х... в...

Протягивая Гончику жеваное серебро, он даже отвернулся, показывая, до чего ему осточертели все эти портсигары.

– Твой? – повернулся к Бенци Гончик. – Не хватает чего-то? Какой фотографии, батиной? Ну ты, хер эмалированный, гони фотку!

– Да нахх... мне его фотка, – томился скрипучей тоской Хиля. – Я ее сразу в помойный бак скинул... Да шас, сгоняем кого-нибудь, по-шустрому... Ты, сявка, вот тебе спичары, чтоб через минуту тут был, ты поэл?.. С фоткой!

– Не бзди, найдем, – ласково склонился к Бенци Гончик, но Бенци по-прежнему не смел поднять глаз. Мир уже открыл ему свое лицо, и стереть это знание теперь было невозможно самыми щедрыми подачками.

Тем более что фотография восстала из небытия обмакнутой в какой-то понос – посланник держал ее за чистый уголок, словно дохлую крысу.

– Гороховый суп, – определил Гончик и пригляделся: – Смотри, суки что делают – они масло себе в суп ложат! А нам и понюхать не дают!

Он поднес за запястье руку посланника поближе к своему шимоновскому носу, внюхался:

– Подсолнечное... Хорошо бы сейчас с лучком!

И подбил справедливый итог:

– Ладно, Венчик, сам отмоешь, подсушишь... Это что, все твоя родня?.. И все цыгане?.. Ты только не обижайся... Ладно, боль-мень видать, а прополощешь, будет как раньше.

И действительно, в конце концов стало видно почти как раньше. То есть очень плохо. И покоробилась фотография не намного сильнее прежнего. А с масляным пятном так даже стало вроде и почетче.

Так что от этого приключения Бенци, можно сказать, даже выиграл: под высоким покровительством Гончика бояться ему стало почти что нечего. Однако он все равно ходил, не поднимая глаз, – мир уже показал ему, на что он способен, и что-то поделаться с этим было невозможно. Похоже даже, Гончику история Бенциного спасения доставила гораздо больше удовольствия.

– Слышу, кто-то в темноте мычит, – при каждой встрече со смехом начинал он рассказывать Бенци. – Я даже забздел – что, думаю, за херня?..

Бенци старательно растягивал губы, усиленно кивал, но сам он не видел в этом ничего смешного. Как, впрочем, и во всем, что когда-либо было, есть и будет на этом свете.

* * *

Когда Бенци покидал детский дом, Гончик долго тряс его руку, и Бенци тоже старался по мере сил трясти мужественную кисть своего покровителя, и ему наконец-то стало немножко стыдно, оттого что вместо благодарности и грусти расставания на душе его недвижно лежало каменное равнодушие и тоска.

* * *

Если в русском детском доме для поддержания иллюзии о его цыганском происхождении Бенци было достаточно помалкивать, то в польском от него потребовались серьезные ухищрения: здесь умели отличать евреев от цыган. Наиболее обостренная бдительность требовалась во время общих помывок: Бенци всегда входил последним и уходил первым, целомудренно прикрываясь мочалкой (которые, кстати сказать, здесь росли в огороде, подобно огурцам, и каждый мог, имея кастрюлю, выварить из них запутанный пружинящий остов, внутри которого довольно часто еще виднелись семена).

Впоследствии Бенцион Шамир в воспоминаниях так называемых детей Тегерана не раз читал о том, что они подвергались разным антисемитским унижениям, однако самого его в ту пору унижить было практически невозможно: он воспринимал окружавших его людей точно так же, как животных, а потому глупо было обижаться на то, что одна собака кусачая, а другая добродушная, – нужно только кусачих обходить, а добродушным, пожалуй, иной раз можно и позволить себя обнюхать. Но уж маме-то мелькать у поезда, махать рукой, обниматься на прощание ни в коем случае не следовало, чтобы не погубить все дело.

Унижения – их, казалось Шамиру, привносил взгляд из благополучного будущего. В польском детдоме он познакомился с абсолютно ассимилированным еврейским мальчиком, необрезанным, носившим маскировку ради крестик на шее, темно-русым и совершенно неотличимым от поляка. Однако Бенци он раскусил и, улучив минуту, время от времени заводил чрезвычайно тяготившие Бенци доверительные разговоры. Этот мальчик рассказал, что, когда немцы заняли его местечко, а он, гонимый голодом, наконец-то решился выйти во двор, там сидел веселый немецкий солдат, аппетитно отрезавший краюху хлеба. Поймав голодный взгляд мальчишки, он весело протянул ему отрезанный кус, а потом указал на им же, может быть, и оставленную кучу свежего парного дерьма. С веселой улыбкой он показал облагодетельствованному, что от него требуется: обмакнуть хлеб в дерьмо, а потом съесть. Мальчик не поторопился с исполнением приказа, и тогда немец уже на полном серьезе направил на него автомат и передернул затвор. И мальчик обмакнул и съел. И чем же, скажите на милость, можно было после этого его унижить? Выкриком? Тычком?

Бенцион Шамир столько всего перечитал про армию Андерса, чьим именем в освобожденной от власти Советов Варшаве была названа одна из центральных магистралей, что теперь испытывал серьезное опасение, как бы нечаянно не выдать прочитанное за лично пережитое. Разумеется, он не мог присутствовать при разговоре почти изгнанного из своей столицы на Волгу вождя советского народа с изгнанным из своей столицы на Темзу вождем польского народа при участии выпущенного из плена генерала Андерса, сколачивающего новую армию из польских граждан, подобно племени иудейскому, рассеянных по лику Страны Советов, но у него было полное впечатление, что он собственными глазами прозаика видел интерьер этого кабинета, собственными ушами драматурга слышал этот исторический диалог.

Андерс: Я полагаю, что в моем распоряжении окажется около ста пятидесяти тысяч человек. Но среди них много евреев, не желающих служить в армии.

Сталин: Евреи плохие солдаты.

Сикорский: Среди евреев, вступивших в армию, много торговцев с черного рынка, контрабандистов. Они никогда не будут хорошими солдатами. В польской армии такие люди мне не нужны.

Андерс: Двести пятьдесят евреев дезертировали из военного лагеря в Бузулуке, когда поступили ошибочные сведения о бомбардировке Куйбышева. Более пятидесяти евреев дезертировали из пятой дивизии перед раздачей оружия.

Сталин: Да, евреи плохие солдаты.

Бенцион Шамир слушал этот разговор и не обижался. Если судить по нему самому, каким он был в ту пору, от Москвы до самых до окраин было не сыскать такой забитой шелудивой дворняжки, которая могла бы посостязаться с ним в трусливости. Все люди без единого исключения превращаются в животных, если отнять у них сказку, которая их воодушевляет, и лишь редкие одиночки становятся бесстрашными волками, готовыми рвать и своих и чужих, – остальные превращаются в шакалов да облезлых шавок, шарахающихся от каждого чиха и способных огрызнуться лишь на проверенно более беззащитных.

Поэтому даже о самых мерзких эпизодах своей тегеранской одиссеи Бенцион Шамир не мог с уверенностью сказать, что это было – проявления идейного антисемитизма или твяканье злобных шавок, выскивающих кого-нибудь совсем уж беззубого. Сам он тоже лишь читал и слышал о том, как доблестные польские солдаты выбрасывали из поезда, идущего через пустыню в прикаспийский Красно-водск, выявленных евреев, однако ничего неправдоподобного в таких историях не усматривал, равно как не усматривал никакого сарказма в выражении «доблестные польские солдаты»: вполне может быть, что кто-то из этих самых мерзких антисемитов пал смертью храбрых где-нибудь под Монте-Кассино. Один и тот же человек может стать и мерзавцем, и героем – смотря по тому, какая сказка им овладеет. Их воспитатель в тегеранском сиротском доме, прошедший сентябрьский кошмар тридцать девятого, когда польская пехота и кавалерия пытались стать на пути немецких танков, под огнем выволакивал на себе смертельно раненного поляка, и последние слова, которые тот выплевывал вместе с кровью, были проклятия грязным жидам, которые умеют устраиваться в тылу.

По-настоящему, давно понял Бенцион Шамир, ненавидеть людей можно только за одно – за то, что они люди. Никто из людей не представляет собой ни малейшей ценности, не обладает ни малейшими доблестями: ценность представляют только те сказки, которым они служат, только эти сказки рождают и доблесть, и гнусность.

А в каких обстоятельствах полякам приходилось отстаивать свою сказку – уже после падения советской власти были опубликованы донесения агентов Коминтерна, которыми советская контрразведка нашпиговала нарождающуюся польскую армию: соединения Андерса почти целиком состоят из антисоветчиков и буржуазных националистов, кои перековке уже не подлежат, а могут быть только ликвидированы, – такие вот рекомендации относительно своих польских товарищей по оружию получало советское

правительство от их же соплеменников, живущих другими сказками. Сказки с людьми не церемонятся – ни с русскими, ни с евреями, ни с поляками.

* * *

А надо ли живописать уже столько раз описанный путь от советского Красноводска до иранского Пехлеви, от Пехлеви до Тегерана, надо ли изображать палаточный сиротский дом в Тегеране, где впервые появились посланцы папиной Эрец Исраэль – впервые реально забрезжившей будущей родины? В тегеранском лагере хватало и грызни, и воровства, и припрятывания всего на свете (Бенци даже в уборной не расставался с портсигаром Берла), но там он впервые за целую вечность испытал совершенно невообразимое чувство: для каких-то уверенных взрослых людей он является значительной персоной – то есть имеет какое-то значение, как он себя чувствует, что он любит, что знает, как держится. Ему перестали казаться нелепой бессмыслицей арифметика и география, иврит и спортивные игры, чтение в книгах о том, чего не было, и чтение в стенной газете о том, что все равно уже случилось. Именно там он вдруг обратил внимание, что его солагерники делятся на мальчиков и девочек и что девочки чем-то интереснее мальчиков. И вновь возникшие в его жизни шестиконечные звезды, которыми для придания торжественности был многократно украшен их временный лагерь, на многие годы связались у него с воспоминанием о воскресающей душе – о внимании к бесполезному, растворяющему тюремные створки, где издыхала свернувшаяся в спору, забытая и забитая душа.

Об этом Бенциону Шамиру тоже было неловко упоминать – слишком уж прямолинейной сионистской пропагандой это выглядело. Но что делать, если именно так все и было?.. Что делать, если Бенци на собственной оживающей душе убедился, что это вовсе не пустые слова – Родина-мать зовет! Если только, разумеется, она действительно родина, то есть чарующая сказка, посылающая тебе знаки любви через моря и пустыни.

Об этом Бенцион Шамир мог бы рассказать немало, если бы только осмелился, если бы только не побоялся показаться смешным либо фальшивым.

А вот о переезде через Каспийское море – что он мог прибавить к чужим описаниям, если мир на миг приоткрылся ему лишь в Красноводске, ныне Туркменбашы, – ударила в глаза по-настоящему, без метафор зеленая вода и по-настоящему розовые горы, похожие на исполинские ядра грецкого ореха. Какие подробности он мог рассказать, если в открытом море он всю дорогу старался не подымать глаз, чтобы не привлечь к себе чей-нибудь оскал? На пароходе он оказался рядом с малышом, который тоже не сводил глаз с палубы, но не бессмысленно, как Бенци, а очень внимательно, явно что-то высматривая. Наконец кто-то поинтересовался, что он там выискивает, и мальчик простодушно поведал, что проверяет, нет ли здесь мышей: мама когда-то рассказала ему, что души умерших превращаются в мышей, и теперь он ни на миг не прекращает поиски умершей мамы, умершего папы, умершей старшей сестренки...

– Жид! – определил какой-то знаток народных поверий, и мальчика тут же законопатили куда-то в трюм, чтобы в качестве нарушителя неких международных соглашений на берегу без промедления передать в руки персидских властей.

К счастью, польский представитель в Пехлеви сжалился и сумел отстоять этого мышиноного охотника, так что он умер от гнояного аппендицита только в Карачи, куда их всех переправили морем, когда Ирак и Турция с Сирией по серьезным государственным соображениям отказались пропустить через свою территорию несколько сотен сверхплановых колонистов. Надо, впрочем, признать этот шаг вполне дальновидным: при обходном пути количество нежелательных переселенцев заметно сократилось.

* * *

Когда Бенцион Шамир прослеживал по карте их тогдашний маршрут, ему начинало казаться, что не одни только стихии – что само время восстало против них. Персидский залив, Оманский залив (как всякого нормального мальчишку его уже понемножку начали снова волновать эти имена) – кажется, за четыре-пять дней уж как-нибудь можно

доползти – почему же они тащились так долго, что успели заново обзавестись вшами, чесоткой?.. Нечем дышать, нечем и негде мыться – все это было как всегда, только почему так долго?..

Бенци, однако, все равно не прекращал при каждом удобном случае бросать взгляд на одну черноглазую девочку, до бесполезной боли в груди напоминавшую ему Рахиль, – бросал и мгновенно отводил глаза, и все же почти каждый раз успевал вздрогнуть, столкнувшись с ее глазами. Как она была одета, он не замечал, уже давно привыкнув считать всяческие обноски нормальной одеждой, а в Тегеране их всех одели примерно одинаково, но он не мог не обратить внимание, что она никогда не чешется при всех (чтобы она вовсе не чесалась – такое допустить было невозможно). Он сам тоже терпел, покуда хватало сил, и только когда зуд становился окончательно непереносимым, забирался в какой-нибудь укромный уголок и со сладкой мукой драл себя когтями, где мог достать.

А когда перед прибытием в порт обрушился страшный шторм и все валялись вповалку и блевали куда придется, потому что выходить на палубу было строжайше запрещено – могло смыть, то Бенци с новообретенной Рахилью долго держался среди самых стойких. Но когда он наконец почувствовал, что извержение – дело ближайшей минуты, он ринулся по уходящей из-под ног гремучей заблеванной лестнице на волю, на открытый воздух: лучше смерть, чем позор! Из последних сил он повернул ручку, оттолкнул сопротивляющуюся, словно живая, стальную дверь, и – и был похоронен не только в трепет, но и в восторг: беснующиеся косматые валы были не просто ужасающими, но невероятно праздничными – зеленая их вода просвечивалась насквозь ликующим солнцем, – и тут мощный гребень ударил через борт, стремительно покатился к его ногам... Бенци дернулся было поскорее захлопнуть дверь, но, собрав всю волю, перенес теплый шипучий удар по коленям и еще успел послать вслед откатывающемуся врагу наконец-то вырвавшийся на волю фонтан.

Путь от Карачи до Адена и далее по Красному морю до Суэца запомнился не столько изнурительной жарой, сколько дизентерией: все галюны были намертво оккупированы, у каждого корчилась длиннейшая очередь; то и дело кто-нибудь не выдерживал и устремлялся на палубу, но успевали отнюдь не все, многие до конца плавания так и продолжали исходить зловонием.

Бенци повезло – он добежал. Палуба переливалась всеми оттенками слизистой партиябадской глины, по которой расходились арбузные разводы. Но некоторые пятна смотрелись нежным напылением, словно бы исполненным каким-то тонким пульверизатором. Над одним из таких пятен он увидел свою новую Рахиль, уткнувшуюся антрацитовым колтуном в колени и придерживающую на весу подол немаркого платья, который все равно уже был обмакнут в разлитый по палубе гороховый суп.

Предаваться впечатлениям, однако, не оставалось ни мгновения – промедление было смерти подобно: Бенци едва успел сорвать штаны, но раскаленная струя все же ухитрилась обдать его пятки.

К счастью, любой позор смывается кровью: через несколько часов Бенци уже пускал задницей кровавые пузыри. Матросы, работая у помпы, как на пожаре, время от времени смывали за борт всю эту палитру, но она тут же восстанавливалась вновь. На этом фоне пересечение минного поля, когда всю ночь не снимали спасательные пояса, прошло почти незамеченным. При подходе к Суэцкому порту Бенци и сам себе напоминал скелет. И все равно он на всю жизнь запомнил, что родина действительно встретила его со слезами на глазах: у прокаленных потных посланников Эрец Исраэль в мужественном хаки в глазах едва удерживались непролившиеся слезы.

А у него в тот миг в организме уже не оставалось ни единой свободной капли влаги (зато пот сжигал все потертости, подобно серной кислоте). Все же те, кто иссох еще в море, столь гостеприимно раскрывшемся для евреев во время предыдущего исхода, в торжестве не участвовали. Холодильника на судне не было, поэтому умерших упрягивали

в мешки из-под риса, из-под муки, добавляли по вкусу балласта и с минимальными церемониями отправляли в Красное лазурное море, гостеприимно расступавшееся и тут же смыкавшееся над их головой, словно веселый базар над Шимоном.

В мешке из-под соли туда же отправилась и ненадолго обретенная новая Рахиль.

Поэтому в чистом проветренном госпитале Бенци долго лежал без движения, ощущая лишь, как затягиваются палящие опрелости, и вскакивая исключительно в уборную. Однако английские медикаменты, диетические отвары и ласковые клизмы сделали свое дело, и Бенци с последней партией тегеранских сирот в неправдоподобно благоустроенном вагоне наконец-то пересек границу Земли обетованной. Увидев пограничный столб «Египет – Палестина», все словно обезумели – плакали, хохотали, обнимались, кружились, – а Бенци смотрел на них с каким-то даже грустным недоумением: как можно радоваться, когда столько людей до этой радости не дожили?.. И как можно знать, какие еще сюрпризы в следующие мгновения подбросит эта запредельная бессмыслица, именуемая пышным словом «судьба»?..

Зеленые поля, белые дома, пальмы, расставленные специально для того, чтобы не оставалось сомнений в ирреальности происходящего, – да, это был несомненный рай. Из которого нужно быть готовым в любую минуту оказаться изгнанным.

* * *

В кибуце его приняли так, как не всюду принимают и родных. Женщины отнимали его друг у друга, чтобы заново потискать и омыть новыми слезами; мужчины ласково трепали по плечу, по спине, по отросшим кудрям, – и его отрешенность понемногу начала переходить в растерянность. А когда после веселого гомонящего обеда в светлой проветренной столовой веселые дежурные начали собирать со столов невообразимую недооцененную роскошь – отборный виноград, солнечные апельсины, которые Бенци видел второй раз в жизни, безмятежные помидоры, впервые в жизни открытые черноглазые маслины, дышащий свежестью белый хлеб, исторгающее слюнку тушеное мясо – и сваливать все это в мусорный бак, которого растворившемуся семейству Давидан хватило бы на целый месяц привольной жизни, – тут Бенци потерял последний рассудок и бросился доставать из бака наиболее драгоценные куски. И тогда он увидел, как текут слезы не только у женщин, но и у веселых сильных мужчин.

Каких он больше никогда не встречал. Сапожники, скрипачи и математики, сделавшиеся садоводами, полеводцами и скотоводами, всегда готовые оставить скрипку и доску с мелом, чтобы отправиться чистить хлев... Когда Бенциону Шамиру в многочисленных интервью задавали вопрос, насколько жизнь в современном процветающем Израиле изменилась к лучшему в сравнении с первыми годами трудов и сражений, он всегда отвечал с полной искренностью: то, что вам досталось, – это объедки.

Он имел в виду объедки сказки.

* * *

По обычаю многих переселенцев избирая в новой стране новую фамилию, Бенцион, Сын Сиона, выбрал достопочтенное имя легендарного червя, обтачивавшего камни храма Соломонова. Но в глубине его души оно перекликалось с тем конспиративным укропом, который когда-то скромно желтел в окошке билограйской халупы его друга Берла, нашедшего последний приют под пятиконечной красной звездой. Богатые разводят розы, а я развожу укроп, каждый раз вспоминал Бенцион Шамир, беря в руки жеваное серебро заветного портсигара.

Он довольно быстро составил себе если и не самую героическую, то вполне пристойную биографию. Отличник учебы, а также боевой и политической подготовки, прибавив себе год, он оказался самым молодым офицером израильской армии во время войны за независимость. Хотя, памятуя о своем советском прошлом, он давно свыкся с мыслью, что он трус, на фронте обнаружилось, что он несколько не трусливее прочих: приказывали идти под пули – шел, приказывали до последнего лежать за пулеметом – лежал. Оказалось, что не страдания и даже не страх смерти когда-то раздавили его волю, а

мерзость и безобразие. Ощущение собственной ничтожности. В бою под огнем иногда бывало невыносимо страшно, но – он все равно продолжал ощущать себя большим и красивым, он все равно продолжал оставаться частью какого-то бессмертного и прекрасного единства – в столкновении же с Хилей он оказывался почти таким же ничтожным и мерзким, как и тот.

Нечего было беречь. А теперь появилось. Теперь у него появилось то единственное, ради чего стоило рисковать жизнью, – сказка.

Тем более что в сказочном бетонном Тель-Авиве на берегу сказочного лазурного моря его ждала сказочная девушка, принцесса из Штутгарта, напоминавшая ему и ту и другую Рахиль, но несравненно более утонченная, потому что ей не пришлось окунаться в грязь: ее семейство догадалось выбраться из Германии раньше, чем начались все эти кошмары.

Именно этой вершинной Рахили Бенци и доверил хранить портсигар Берла, покуда он не вернется с поля боя со щитом или на щите.

* * *

Жара, пыль, жажда были для него делом привычным. А опасность смерти или увечья – чем-то крайне, конечно, неприятным, зато красивым.

А однажды с небольшим отрядом Бенци попал в окружение. Пытаясь прорваться, они заблудились в пустыне и, уже начиная погибать от жажды, в конце концов выбрали к иорданской укрепленной высотке, так что, когда на окрик у них хватило сил поднять головы и посмотреть вверх, на них внушительно смотрели сразу два ручных пулемета.

Рисковать жизнью на поле боя были готовы все, просто погибать не хотел никто – бойцы без слов побросали свои чехословацкие винтовки на раскаленный щебень.

Война продлилась еще недостаточно долго для того, чтобы умами противников овладела воодушевляющая сказка о том, что противостоят им не люди, а чудовища, – поэтому особых зверств пока не творила ни та ни другая сторона. Пленников всего только посадили на обжигающую щебенку и продержали несколько дней, пока не отыскался свободный сарай. Да еще Бенци крепко досталось прикладом по спине, когда он попытался встать, чтобы помочь раненому. Но раненый к вечеру умер, а кровохарканья, в отличие от Берла, у Бенци не открылось, так что все кончилось благополучно.

Истязали не столько люди, сколько стихии – солнце, воздух и вода, вернее, ее отсутствие, потому что подвозить вовремя и менять протухшую мешала главная царящая над миром стихия – безразличие.

Бенци пришлось и копать канавы для фундамента, и месить босыми ногами бетон, прислушиваясь к своим внутренностям, не забралась ли и туда старая боевая подруга дизентерия, косившая народ налево и направо, и никто не был виноват ни в тепловых ударах, ни в разрастающихся язвах, ни в обезвоживающихся организмах: что делать, если солнечный огнемёт непрерывного действия выдерживает не всякая голова, что делать, если жидкий цемент непрерывного действия выдерживает не всякая кожа, что делать, если протухшую пищу и воду дискретного действия выдерживает не всякий желудок...

II

Нет сомнений, что подавляющее большинство знакомых Бенциона Шамира считали его счастливым человеком, однако опытный инженер человеческих душ хорошо понимал, кого считают счастливым – того, кого недолюбливают. А если любят, то не хотят из-за него расстраиваться.

Да, для постороннего равнодушного глаза все у него было более чем прилично – известный писатель, лауреат десятка литературных премий, завсегда все правительственных приемов, доктор философии, защитивший любопытную диссертацию об эволюции образа еврея и образа немца в русской литературе, ветеран войны, успевший впоследствии послужить родине и в качестве дипломата, а затем и ближайшего помощника знаменитого генерала, чьим именем названа одна из крупнейших тель-авивских магистралей... Ну да, ему, конечно, пришлось когда-то пережить несколько нелегких лет – но кому тогда было легко? Время было такое – война. Кто тогда не

голодал, не скрывался, не терял близких? Зато без этого погружения во мрак и будущий успех не выглядел бы столь ослепительным!

Более того: после многолетних бесплодных запросов нежданно-негаданно отыскались навеки, казалось, канувшие во тьму хлопотливая старушка-мать признанного писателя и его пятидесятилетний старший брат Шимон.

Шимон прибыл на родину предков с мучительно знакомым черно-седым детдомовским ежиком и со сверкающей нержавеющей улыбкой меж ввалившихся щек. Как выяснилось, демонстрировать постоянно приподнятое настроение Семка считал делом чести, доблести и геройства. На груди у него синели гордо развернувшиеся в профиль Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, а на коленях краснели пятиконечные звезды, извилистыми лучами напоминавшие морских звезд. Тем не менее политические взгляды Шимона, судя по другим татуировкам, отличались крайней эклектичностью, поскольку на обоих веках у него значилось «Раб КПСС». Правда, последнюю надпись можно было различить, только когда он спал, а всю остальную эмблематику – когда он перед помывкой обнажал свое мосласто-ребристое бледнокожее тело.

Хотя и в этих торжественных случаях идеологической проникновенности серьезно препятствовал высокохудожественно исполненный пурпурным по белому мощно эрегированный мужской орган, выныривавший из-под резинки трусов аж до самого узловатого пупка, – над которым, изображенный с еще большей тщательностью и любовью, располагался как бы в рассеянности приоткрывший лиловые губки орган женский: когда Семка садился и втягивал неожиданно многоскладчатый живот, органы сливались воедино. Многократное повторение этой процедуры вызывало, по словам Шимона, бурные овации по всем бесчисленным «зонам» от Мурманской до Чукотки, куда его ни забрасывала лагерная судьба.

Шимон, едва ступив на Землю обетованную, уже в аэропорту Бен-Гурион клятвенно заверил, что работать не собирается – пусть работает медведь, у которого для этого есть целых четыре лапы, или в крайнем случае трактор – он железный. И обещание, судя по дальнейшему, исполнил.

В первое время он появлялся у младшего брата довольно часто, всегда очень крепко, однако, по его мнению, недостаточно выпившим. Прежде всего он внушал Бенци необходимость быть скромным – чтоб Бенци не воображал, что если он писатель, то он такой уж чересчур культурный, – Шимону самому не раз доводилось по сути дела заведовать кавэче. Бенци уже знал, что так называется культурно-воспитательная часть, а потому никаких вопросов не задавал. Тем более что убедительным свидетельством его скромности все равно могла быть только скромная сумма, выделенная на приобретение двух-трех бутылок полюбившейся Шимону лимонной водки «Кеглевич», а также приличествующей этому элегантному напитку закуски. В противном случае Шимон грозил дать по кумполу какому-нибудь чучмеку, как он, будучи консерватором, именовал евреев-сефардов, которых люди его круга обычно называли арсами (слово «арс» в Тель-Авиве означало примерно то же, что слово «ишак» в районном центре Партиябад).

– Хочешь, чтобы в газетах написали: брат знаменитого писателя ограбил нацмена?! Хочешь?! – напористо допытывался Шимон, и Бенци всегда отвечал с совершенным чистосердечием: «Не хочу».

Шимон держался так, словно Бенци в чем-то его предал, словно он, Шимон, сражался с какими-то врагами, покуда Бенци за его спиной отсиживался в тылу. И хотя сражался именно Бенци, а сидел, наоборот, Шимон, тайная правота Шимона не составляла секрета для Бенциона Шамира: самого страшного на войне он не испытал, потому что там не было мерзости, только чистый ужас.

Шимон очень быстро развеял по ветру четверть века настаивавшуюся сказку о погибшем брате, однако так до конца и не сумел переработать сострадание к себе в беспримесное отвращение. Несмотря на всю безжалостную реальность, в душе Бенци все-

таки продолжало теплиться то единственное, что только и может сближать людей, – общая сказка. Хотя это скорее всего была уже лишь сказка об общей сказке.

Тем не менее и ее оказалось достаточно, чтобы Бенцион Шамир каждый раз ощущал долго не стихавшую боль, когда что-нибудь вновь и вновь напоминало ему о Шимоне, который однажды наконец-то исполнил свою угрозу, причем с большим перевыполнением: разбойное нападение, нанесение увечий, представляющих угрозу для жизни потерпевших, нарушение неприкосновенности жилища с применением технических средств и в довершение всего вооруженное сопротивление полиции, вынудившее ее открыть огонь на поражение. Все это выглядело таким нарочитым нагромождением нелепостей, что в любом сколько-нибудь рассудительном человеке возбуждало прежде всего подозрение о завуалированном самоубийстве.

История, как и сулил Шимон, в газеты попала, но никакого ущерба репутации Бенциона Шамира не нанесла. Во-первых, мало кто знал, что есть общего между писателем Шамиром и уголовником Давиданом. Во-вторых, все, кто к нему хорошо относился, лишь выражали сочувствие (мысленно поздравляя его с освобождением); те же, кто относился к нему неважно, просто радовались за себя и за торжество справедливости: историческая родина сомкнулась над головой Шимона-Казака отнюдь не с большим сочувствием, чем базар Партиябада.

Мать снова на удивление спокойно приняла уже окончательную разлуку со своим сыном – скорее всего, она мысленно простилась с ним много лет назад, после того как имела неосторожность разыскать его в Советской России и наволноваться и наплакаться во время предыдущих его отсидок, в удесятенном объеме, в сравнении с Бенци, вкусив прелести общения с Шимоном плюс тюремные передачи минус доходы, которыми располагал классик ивритской литературы Бенцион Шамир.

Белая и легкая, как пух на ее головке, она, казалось, беспокоилась об одном лишь здоровье, а хлопотала только о том, как бы подешевле приобрести помидоры для салата да куриные лапки для холодца на тель-авивском рынке – «шукке», – да еще сэкономить шекель-другой на электричестве и пресной воде. Бенциона Шамира это даже раздражало бы, если бы он не понимал, что, бескорыстно служа деньгам, человек на самом деле рассказывает себе какую-то сказку о своей мудрости, могуществе и дальновидности. Страстное корыстолюбие всегда лишь маска какой-то сказки. Как все у хомо сапиенса, чья главная жизнь протекает в его воображении.

Хотя мать получала вполне приличную, по ее вывезенным из Страны Советов стандартам, пенсию, а также хорошую (Бенци передергивало) компенсацию от германского правительства за убитую Фаню, она постоянно сетовала на мелочность водяного счетчика, установленного в ее бесплатной «амидаровской» квартире: в Союзе-то вода была бесплатная... Бенци всегда при этом чувствовал себя виноватым и старался сунуть ей какую-то сумму, соразмерную его вине.

Но вот когда она принималась жаловаться на бездушный бюрократизм немцев, не желавших выплачивать компенсацию за ее супруга Давидана и дочь Рахиль Давидан из-за такой пустой формальности, что умерли они не в германской, а в советской зоне ответственности, – ведь если бы немцы не начали свою политику вытеснения евреев, то и...

И однажды Бенци не выдержал.

– Мама, – спросил он как можно более ласково и кротко, – подумай: неужели ты хочешь взять с них деньги за нашего папу, за нашу Рахиль?..

– Но ведь им уже не поможешь, – голосом нищенки запричитала мать, судя по стремительности ответа, уже давно его заготовившая. – А нам бы эти денежки не помешали...

– Мамочка, – Бенци вложил в это слово все скудеющие запасы своей нежности, – если бы мы умирали от голода, я бы взял эти деньги. Но ведь мы не умираем, мы можем себе позволить эту роскошь – ничего у них не брать.

– Да-а... – тянула мать партию побирушки. – Но нельзя же вечно ненавидеть...

– Я не питаю к немцам ни малейшей ненависти. Я считаю, что немцы раскрыли миру правду не о том, каковы они, а о том, каковы люди вообще. Немцы всего лишь разрушили утешительную сказку, что человек творит зло только из-за голода и дикости. Они отняли надежду, что гигиена и всеобщая грамотность изгонят из мира хотя бы самые чудовищные формы зла. И теперь у людей нет никакой надежды...

Мать взгляделась в него внезапно помудревшим взглядом и вдруг произнесла твердым упавшим голосом:

– Люди сочинят новые сказки. Они не согласятся жить и мучиться.

– А я хочу мучиться. Это единственное, что я могу сделать для нашего папы, для Фани, для Рахили... Даже для Шимона. Помнить и мучиться.

– Но ты же этим не причинишь нашим мучителям ни малейшего вреда... – Чуть ли не впервые за годы в Эрец Исраэль в материнском голосе прозвучала материнская забота.

– А я и не хочу никому никакого вреда. Я бы не казнил даже самых главных, тех – в Нюрнберге. Чтобы ни у кого не возникало иллюзий, будто за то, что они сделали, можно чем-то расплатиться. Особенно такими медяками, как их ничтожные жизни. Я хочу, чтобы не могло возникнуть даже мысли, что мука и гибель стольких людей как-то могут быть отомщены. Как-то могут быть искуплены. Что можно считать вопросом закрытым и жить дальше. Я хочу, чтобы он вечно оставался открытым. А для этого наша боль должна вечно оставаться неотомщенной. Вечно неискупленной. Не для того, чтобы вечно ненавидеть, – для того, чтобы вечно помнить. А отомщенная, искупленная обида легко забывается...

Бенци понимал, что пора бы остановиться, но уж очень хотелось в первый и в последний раз выговориться до конца:

– Я не хочу, чтобы выстраданное нами знание было снова стерто утешительными сказками – жертвы были не напрасны и тому подобное. Тогда-то они и сделаются окончательно напрасными. Пусть лучше люди живут с чувством, что жертвы были напрасными. Это все-таки лучше, чем ничего.

Мать задержала на нем непривычно пристальный взгляд и поняла, что выбор у нее не велик: или она будет мучиться вместе с сыном, или он будет мучиться один. А потому к этой теме больше не возвращалась – только здоровье, только погода, только цены, только соседи.

* * *

Все нормальные люди, понимал Бенцион Шамир, ужасаясь своей ничтожности перед лицом безгранично могущественных и неодолимых в своем равнодушии стихий, прячутся в какие-нибудь коконы, в которых могут ощущать себя значительными. В быт, где почти всегда что-нибудь да получится, в семью, для которой почти каждый ее член что-нибудь да значит, – но увы, Бенциону Шамиру и в этом было отказано.

Штутгартская псевдо-Рахиль оказалась холодной, надменной – надменной до такой степени, что на пике своего социального успеха Шамир отказался от гарантированного места в кнессете (обеспечивавшего, кстати сказать, до конца дней почтенной пенсией...), поскольку народным избранникам полагалось держать открытый дом и появляться с супругой на светских раутах: истинное лицо его супруги было невозможно явить общественности, а скрывать его она почитала ниже своего достоинства. Теперь-то он хорошо понимал, что нужно было бежать сразу, как только, вернувшись из плена, он обнаружил, что его избранница понятия не имеет, о каком «портсигаре Берла» идет речь.

– А, эта мятая коробочка... – наконец с трудом припомнила она. – Наверно, где-то лежит. Да ты не расстраивайся, это не серебро. У нас был ювелирный магазин в Штутгарте, папа в этом разбирается. Он говорит, что это какой-то дешевый сплав, ничего не стоит.

Тогда-то и нужно было бежать, но ему в тот миг казалось, что он после всех ужасов снова вернулся в исчезнувший Эдем родного дома с коричневым овальным столом под переливающейся хрустальной люстрой, с бронзовыми подсвечниками на резном комодe, с

хрустальными книжными шкапами, с негромкими голосами и учтивыми интонациями, – только деревянные конструкторы с паровозиками уже не валялись по коврам, да ванна стояла не в кухне, как в Билограе, а в просторной ванной комнате, и Бенци всегда поглядывал на эту ванну с нежностью, вспоминая, как часто она принимает в свои эмалевые объятия его возлюбленную. Ее черствость показалась ему аристократической выдержкой, а портсигар – портсигар вскоре сыскался среди даже и не хлама – хлам в этом доме не задерживался, – а просто среди предметов третьестепенной важности, которые здесь хранились вечно.

Когда Бенци покидал этот дом, ему даже показалось, что он понимает, почему именно в Германии фашизм принял столь чудовищные формы: немцы из-за своей холодности настолько одиноки в частной жизни, что какое-то подобие тепла им удастся обрести только в толпе. Как все, кто пытается одной чертой охарактеризовать целый народ, он не замечал, что сваливает в свое обвинительное заключение и крайне сомнительные материалы, – подбрасывая, в частности, немцам свою жену-еврейку.

В стотысячный раз Бенци убедился, что не только любовь, но даже хороший секс невозможен без совместного служения какой-то общей сказке. И что никакие поступки человека не дают представления о нем, если не знать, в каком воображаемом контексте они совершаются. Во внешнем мире и кухня в доме его жены была похожа на билограйскую – на стенах, на полках сверкали те же медные тазы и фарфоровые кружки, в воздухе стоял тот же запах чернослива, от которого перехватывало дыхание, из рук жены выходили такие же блестящие треугольные пирожки гуметаши с маком и медом; по праздникам она даже застегивала платье у горла такой же круглой розовой камеей, как мама, – потому-то и невозможно было поверить, что ни на что даже отдаленно напоминающее материнскую заботу она не способна...

Сына он любил иступленной любовью – сначала дивного красавчика, умницу, великолепного спортсмена, почти профессионального гитариста, лихого десантника, блестящего студента, способного за один месяц изучить новый язык, – а затем неудачника, все бросающего на полдороге, нежного отца и раздражительного супруга, мелкого клерка и маклера-самоучку, пытающегося поправить дела игрой на бирже... Нет, Бенцион Шамир был не настолько наивен, чтобы давать деньги на игру – он давал их исключительно на то, чтобы откупиться от хотя бы самых опасных долгов, грозивших долговой ямой и выселением на улицу. В эти-то долговые ямы и ухнула меньшая половина его сбережений на старость, накатывающуюся курьерскими темпами.

Большая же половина была утрачена менее банальным путем. На премьере «Очереди в ад» к Бенциону Шамиру по-хозяйски протолкалась пышная мадам с довоенными польско-еврейскими манерами и представилась его тетей, точнее, женой его варшавского дяди – состоятельного отпрыска того самого семейства, в котором покойный папа Бенци считался шлемазлом и белой вороной. Кошмары холокоста, однако, смыли былые неудовольствия, и дядя-бизнесмен был искренне рад чудом уцелевшему племяннику. Некоторое время Бенци у них изредка обедал, однако общая сказка об идиллическом прошлом постепенно истаяла, встречи становились все реже, но симпатия держалась. Поэтому Бенци не колебался, когда дядя предложил ему вложить предельно допустимую сумму в строительство большого отеля в маленьком курортном городке.

Старый деляга не ошибся – и город, и отель росли и процветали. «Твоя доля еще подросла!» – радостно приветствовал дядя племянника на эпизодических семейных торжествах, но именно в тот момент, когда Бенци наконец решил коснуться этой доли, дядя ускользнул в болезнь Альцгеймера и наотрез никого не узнавал. Если не считать жены, при виде которой он каждый раз отчетливо произносил единственное сохранившееся в его памяти слово: «Сука!» Дети же его, «братаны» Бенци, все как один состоятельные бизнесмены, так же наотрез знать ничего не знали и слыхом ничего не слышали.

Когда за измерением кровяного давления в возрасте девяноста четырех лет отошла в лучший мир его мать (японский дигитальный монитор зафиксировал blood pressure двадцатилетней девушки), Бенцион Шамир наконец-то осознал ту очевидность, которую он даже в свои более чем зрелые годы не до конца различал за все еще, оказывается, не развеявшейся сказкой детства: в этом мире ему совершенно не на кого рассчитывать. Сын, как все по-настоящему несчастливые люди, в глубине души считал несправедливым чем-то жертвовать людям, более счастливым, чем он сам, а отец и мать сквозь сказку детства все еще представлялись ему могущественными и несокрушимыми. К слову сказать, однажды Бенци вежливости ради спросил сына, давно ли он видел мать, и тот, напомнив Бенци его перекушавшего травы забвения дядю, вдруг выпалил: «Хоть бы она скорее сдохла».

Бенцион Шамир хотел было попенять ему, но остановился: зачем?.. Что значит слово, если есть мнение? Он давно не пытался вести с сыном душеспасительные разговоры: если человек утратил собственную сказку, помочь ему невозможно. У сына, правда, были чудесные дети, мальчик и девочка... Ну так и что? У него и у самого когда-то был чудесный сын. А потому он старался поменьше видеться с внуками, чтобы снова не потерять голову. Ведь все, что любишь, рано или поздно уплывает из рук. Даже если остается рядом.

Бенцион Шамир давно привык чувствовать себя одиноким: вокруг него не было людей, которые могли бы разделить с ним его сказку. Да и сама эта сказка непонятно в чем теперь и заключалась. Когда ему доводилось знакомить с Тель-Авивом иностранных писателей, он всегда проводил их мимо сверкающих «бутиков» и дорогих кафе с величайшим презрением: зачем плодить столько сортов обуви и пива, зачем столько платить за мрамор, когда в бетонной забегаловке через два квартала кофе намного вкуснее? А вот желающих служить в армии все меньше и меньше!..

Он спохватывался, что превращается в старого брюзгу, и начинал следить за собой, но это было нелегко: брюзжание – еще самое невинное из того, на что способны люди, утрачивающие любимую сказку. Поэтому он старался поменьше бывать на людях. Наполнив дом неземной музыкой кого-нибудь из великих немцев, отделяясь от земли и сам и чувствуя себя предателем, оттого что позволяет страданиям перерастать в красоту, он, ссутулившись, бродил по большой комнате, заставленной и заложеной книгами на четырех языках, включая немецкий, освоенный им из принципа, – чтобы никто не мог подумать, что он сводит счеты с немецкой культурой. Свои жилищные потребности он свел к минимуму: в процветающем Израиле он оказался некоммерческим писателем, хотя его сочинения изучались в университетах. Одному ему на жизнь вполне хватило бы, но статус требовал большего. А кроме того, он не мог брать деньги у женщин, с которыми ему доводилось жить под одной крышей или путешествовать по Европе (Германию и Польшу он все-таки объезжал стороной – к чему изводить себя сверх необходимого?)

Женщинам он нравился – известный писатель, интересный мужчина... Он был бы даже не просто интересным, но очень интересным мужчиной, если бы не держался так упорно за старомодные и, прямо скажем, дурацкие усики, придававшие ему сходство с Чарли Чаплиным. И все же немало женщин нежно гладили его по шее, сочувственно дивясь, откуда у него такая лесенка шрамов. Он тоже не раз влюблялся, но любовь не открывала ему наидрагоценнейшего из своих даров – забвения. В самые страстные или поэтические минуты в его воображении начинали копошиться настырные картинки – а как бы его избранница смотрелась на соломе в манеже? В закопченной пещере церкви? В духовке мечети? В воше-бойке? В товарном вагоне? Со струйками грязного пота, бегущими по этой трогательной коже... Под куском мешковины с самодельной надписью «карамель»... На палубе, залитой кровавым гороховым супом... А что, если бы они вот так и заоченели, – как бы стали разгибать их сплетенные руки и ноги?..

Он и в каком-нибудь римском соборе Святого Петра невольно прикидывал, сколько беженцев можно было бы разложить на этом изумительном полу – двадцать Билограев, не меньше...

Последняя его привязанность, носившая традиционное имя – Рахиль, была женщиной тоже не первой молодости, но все еще красивой, не столько увядшей, сколько потемневшей (прикрытые ее веки ассоциировались прямо-таки с черносливом) от безысходной вины перед четверкой дочерей-погодков, которых она ухитрилась без мужа прокормить и обеспечить высшим образованием на скромные доходы от все новых и новых книжек по теоретической педагогике. Теперь все дочери, что называется, стояли на собственных ногах, все жили в благоустроенных странах и все до одной были смертельно обижены на мать за то, что, когда они были детьми, она не уделяла им положенного внимания. Ты помнишь, постоянно упрекала ее то одна, то другая дочь, как я собиралась на первый урок, на карнавал, в бассейн, на пикник, и все были с родителями – одна я одна!.. Но я же в это время зарабатывала деньги на твою одежду, на твой карнавал, на твой бассейн, на твой пикник, потому и не могла прийти, уже и не отвечала последняя Рахиль, давно усвоившая, что зарабатывание такой вульгарной вещи, как деньги, не освобождает от ответственности перед потомством. Кончилось тем, что ее дочь, живущая в Канаде, выписала мать к себе в гувернантки, когда у нее возникли трудности с собственными детьми. Преступная мать отказать не посмела и, обливаясь слезами, отбыла в заокеанскую ссылку.

Пытаясь скрасить разлуку, Бенцион Шамир написал пьесу «Бунт стариков» – о том, как разъяснял он в интервью, что веками проклиная тирания старших над младшими сегодня сменилась обратной тиранией – младших над старшими. Пьеса большого успеха не снискала: из того, что старики всегда ругали молодежь, следовало, что они всегда были неправы. Шамиру эта логика открылась в прибрежном кафе во время вечернего разговора с заезжим американским критиком, и тот невольно отметил, что его собеседник в ртутном свете фонарей напоминает посеребренного Чаплина. Бенци тоже что-то прочел в его взгляде и осекся: а вдруг он и в самом деле превратился в старого чудака, цепляющегося за старые сказки, когда мир уже давно переключился на новые?

Он уже давно начинал жить сравнительно полнокровной жизнью, только погружаясь в очередное сочинение, в очередную фантазию, промежутки между ними пересекая так, словно это был пустынный тракт меж двумя колодцами. Но все колодцы в последнее время пересохли, и брести становилось все труднее, все несноснее...

Нужно было возвращаться к людям. И заново зарабатывать средства на старость, которая уже не только постучалась в дверь, но и шагнула через порог, отсутствие которого в израильских квартирах позволяло с большим удобством выгонять на лестницу воду резиновой шваброй, именуемой «магав».

Собственно говоря, вслед за вступившей в его жилище старостью в него постучалась и сама матушка-смерть – Бенци пришлось вновь отвезти носилок, с которыми ловко управлялись два бравых медбрата, на этот раз переговаривавшиеся друг с другом о делах, уже не имеющих к страждущему ни малейшего отношения. Если родина когда-то встречала Бенци со слезами на глазах, то провожать его она явилась без всяких сантиментов.

На первый раз, как выражаются в России, он отделался легким испугом, и тем не менее нагой, освобожденный от иллюзорных излишеств мир больницы снова напомнил ему: ты никто. Не исключение. Ясновидящий маг в болотном халате видел его насквозь и прочел в его сердце все обиды и рубцы – и рубец имени Рахили, и рубец имени папы, и рубец имени Фани, и рубец имени Шимона, и рубец имени Берла, и целых два рубца имени потери его портсигара, и даже все последующие, уже, казалось, не такие глубокие, но все равно сумевшие запечатлеться даже и на очерстевшем сердце.

Операции пока не требовалось, и все-таки новый образ жизни оказался делом дорогостоящим. А средств на прислугу, хотя бы и филиппинку, которая должна была

избавить его от бытовых усилий, уже явно не доставало. Время при этом работало против него – возможности зарабатывать выступлениями, поездками, статьями-однодневками неуклонно снижались, а нужда в посторонней помощи так же неуклонно росла. В обозримой перспективе забрезжил дом престарелых, порождая в его исполосованном сердце холод тем более неотвратимый, что Бенци еще очень давно убедился в своей недостаточной квалификации, чтобы суметь быстро и решительно уйти из жизни по собственной воле.

Словом, требовалась какая-нибудь прилично оплачиваемая и не слишком обременительная государственная служба.

Его старые боевые друзья занимали высокие посты во многих министерствах, однако наиболее привлекательным ему показалось культурное представительство Израиля в обновленной России. Бенцион Шамир и впрямь подходил для этой должности без всякого блата и туфты: знаток русской литературы и советского быта, несмотря на все прошлые сложности, относившийся к России с искренней симпатией как к хотя, быть может, и невольной, но все же избавительнице европейского еврейства от окончательного истребления, – и так далее.

И так далее.

* * *

Кажется, именно евреи подарили России такое истинно русское слово, как «шмон». Бенцион Шамир не желал для себя никаких послаблений и вполне сочувственно докладывал в аэропорту Бен-Гурион, куда, зачем и от кого он едет, милым строгим девушкам в форме, совсем не похожим на тех, которых он когда-то видел в Билограе. Помнится, не наделала большого шума компашка журналистов, ухитрившихся пронести в самолет сквозь таких же девушек сумку с незаряженными автоматами, – но ритуалы есть ритуалы. Гипнотические пассы, не позволяющие пробудиться от господствующей сказки.

В ординарнейшем «Боинге» компании «Эль-Аль» соседом по креслу оказался молодой человек, напомнивший Бенци «старого разведчика» с партиябадского базара. Он был уже без бинтов, при обеих руках, при костюме и плоском ежике, а оттого еще более бодрый и уверенный в себе. Судя по всему, он действительно любил пиво, но еще больше любил сказку о красивой жизни, приобщиться к которой ему удавалось единственным способом: каждые пять минут вызывать понимавшую русский язык вышколенную стюардессу и в выражениях, казавшихся ему изысканными, заказывать все новые и новые жестяные цилиндрики.

Он и с Шамиром был забавно куртуазен, хотя с каждой новой банкой это ему давалось все труднее и труднее, и из малейшей его щелочки каждый миг готово было брызнуть – нет, не пиво – упоение причастностью к могучей и прекрасной новой жизни. «В отпуске почему не выпить? – корректно обращался он к своему корректному немолодому соседу. – Если цивилизованно. По-европейски. А на работе – ни-ни. Теперь не совок! Это в совке можно было на работе квасить... – Его простоватая, неуклонно багровеющая физиономия выражала беспредельное презрение. – А у нас ведь БАНК!»

Едва ли папская стража с таким пиететом говорила о Ватикане.

– Везде чистота, пол мраморный, на диванах настоящая кожа, мы все, охрана, в черных костюмах, со всеми на «вы»... Я бы в Израиле жить не мог – культуры нету. Я зашел в банк снять бабки с кредитной карточки, – слова «кредитная карточка» он произнес уже не благоговейно, но всего лишь аппетитно, – а там какой-то урюк развалился в кресле и ноги на другое сиденье поставил. Я ему говорю: ты, коззел, тут же люди будут сидеть!.. А дед переполошился: ты что, здесь так нельзя, миштару вызовут!.. Я уж не стал связываться. Азия!

Старый разведчик мотался в Эрец Исраэль навестить своего еврейского деда, но самого его, судя по всему, уже можно было отнести к еще одному из отпавших колен Израилевых. Россия служила для него не только средой обитания, но и каким-то обетованием, то есть сказкой, – что, собственно, и есть родина.

Но что поразительно – сказка эта была не просто о красивой жизни, но о красивой европейской, буржуазной жизни!

Что бы, интересно, сказал по этому поводу бедняга Берл?.. Ведь для него Землей обетованной была именно социалистическая Россия...

И истрепанное истрепетавшееся сердце Бенци затрепыхалось с не внушающим серьезного опасения здоровым волнением, когда приятный женский голос объявил, что через четверть часа самолет совершит посадку в столице Российской Федерации городе Москве.

Помолодевшее сердце стучалось в пригревшийся на груди жеваный портсигар неукротимого Берла, наконец-то приближающийся к столице мирового пролетариата, породившей мечту о новом Красном Сионе для бедных.

Портсигар всегда лежал у Бенциона Шамира на видном месте, нанося ему непрерывные царапинки на сердце – напоминаниями о неисполненном долге.

Смешно? Не более чем любая другая сказка.

* * *

Наконец-то со сказочной брусчатки той самой выгнувшей панцирную спину Красной площади Бенци открылись ТЕ САМЫЕ рубиновые звезды на башнях Кремля! Правда, половина красных звезд была уже расклевана утвердившимися на их месте золотыми двуглавыми орлами, однако и в сравнении с ними голубые шестиконечные звезды на флагах израильского посольства показались Бенциону Шамиру бледными и беззащитными. Особенно среди кусачей русской зимы.

* * *

Но это было ему только на руку – он не мог бы работать в России, не ощущая в ней никакой поэзии. Он не умел очаровывать тех, в ком ничто не вызывало его восхищения, то есть ничто не отдавало сказкой, а работа его прежде всего и заключалась в том, чтобы очаровывать. Это открывало возможность устраивать для более серьезных официальных лиц дружеские встречи – насколько возможны дружеские отношения между людьми, которые хотят друг друга использовать (ибо дружба – это всегда служение общей сказке). Бенцион Шамир был достаточно опытным обольстителем, чтобы осознать главный ингредиент своего, да, по-видимому, и всякого другого обаяния: чтобы очаровать женщину или страну, прежде всего не нужно притворяться – нужно наоборот раскрыть себя, каков ты есть в самой последней своей глубине, то есть в своей любимой сказке. И те, кого эта сказка очарует, тебя полюбят; те же, кто в нее не поверит, тебе не нужны.

Впрочем, и второй ингредиент был не менее важен, чем первый, – он заключался в том, чтобы угадывать и поддерживать чужие сказки, которые и люди, и народы постоянно рассказывают себе о себе же самих. Страх за любимые сказки и есть главная причина ненависти и крови, – но Бенци любовь к чужим сказкам ничего не стоила, он, наоборот, не верил ни в корыстолюбие, ни во властолюбие, твердо зная, что и золото, и власть нужны человеку, а тем более народу единственно для того, чтобы чувствовать себя героем красивой сказки. Вам простят все – богатство, почести, чины, звания, – вами будут еще и гордиться, если вы не станете покушаться на сказки того народа, среди которого живете, почти открыто говорил он российским соплеменникам, потерявшим голову от свалившегося на голову сказочного успеха.

И его, в общем-то, слушали, ибо за все золото мира нельзя купить умное, честное, всеми почитаемое зеркало, в котором ты сможешь видеть себя красивым благородным человеком. А Бенцион Шамир был именно таким зеркалом. Конечно, на него работала и репутация, то есть сказка о еврейском сиротке, сделавшемся героем войны, знаменитым писателем, а также советником и другом всех президентов, – в такое зеркало трудно не покоситься, подбрасывая пачку долларов из их немереной груды в костерок российско-израильской дружбы, раздуваемой творцами сказок – артистами, писателями, общественными деятелями – на всевозможных «культурных мероприятиях». Получить заметную роль во всемирной сказке, именуемой История, – лишь полные недочеловеки

способны устоять перед таким соблазном. Бенциону Шамиру оставалось только следить, чтобы плоды еврейских благодеяний доставались преимущественно русским.

Соблазнять высокими ролями ему было проще всего под маской детской наивности большого таланта. Поддержание этой маски вовсе не было притворством – напротив, это была самая глубокая правда его души, на трехтысячном доньшке которой каким-то чудом продолжала теплиться уверенность, что люди, сегодня истребляющие друг друга во имя спора, чья же все-таки Дульсинея есть прекраснейшая дама как под луной, так и под солнцем, а чья – вонючая скотница, – что эти самые люди обнимутся как братья, лишь только кто-то сочинит для них общую сказку, в которой каждая Дульсинея будет по-своему восхитительна. Более того – на еще более глубоком доньшке Бенци был убежден, что такая сказка уже давным-давно всем известна, но люди просто забыли о ней, заматавшись со всякими глупостями, вроде массовых убийств и взаимных посрамлений.

И, собственно, он мог с уверенностью припомнить лишь один случай, когда его чары оказались совершенно бессильны. Иными словами, он встретил единственного человека, свободного от всех и всяческих сказок. Чистого прагматика, хотя до этого Бенци считал эту породу невозможной наравне с наядами, дриадами и дибукими. Человека сказочной судьбы, не видящего в ней ровно ничего сказочного, ощущающего ее такой же прозаической, как собственная фамилия, – Рабинович. Сема Рабинович, как его наполовину ласково, наполовину насмешливо называли в московском олигархическом полусвете. Сема... Шимон...

Желтокрылые газетенки приписывали Семену Рабиновичу неординарную биографию, в чем-то сходную с судьбой самого Шамира: еврейский сиротка, выросший в ленинградском детском доме, получив там ранние убедительные уроки нравственного и сексуального воспитания у какого-нибудь тамошнего Хили. Учился ни шатко ни валко, но все же окончил какой-никакой, то есть никакой московский институтишко; подфарцовывал на излете казавшейся вечной советской власти, загремел в армию, за взятку устроился на склад горюче-смазочных материалов и демобилизовался через год в звании серого генерала подпольной торговли бензином. Вернулся в Москву, где был вынужден в одночасье спалить на газовой плите несколько килограммов купюр, составлявших почти все его сбережения, пока явившаяся с обыском милиция звонила и стучала в дверь его съемной квартиры. События развивались на ничейной полосе исторического календаря: реальная жизнь была уже капиталистической, а законы все еще социалистическими.

Некоторое время после этого краха Сема занимался тем, что скупал тонкое индийское белье, подштанники реализовывал через барахолку, а «футболки» перекрашивал в разные попсовые цвета и с надписями «Kiss my ass» – в ту пору бурной вестернизации это считалось очень стильным – в большом количестве распространял через сеть коммивояжеров по студенческим и ремесленным общежитиям. Но в высшие сферы Рабиновича якобы ввела некая близкая к сферам бизнес-ву-мен, которая была старше его на одиннадцать лет и с которой он якобы прожил несколько лет в гражданском браке, – лишь с того времени он начал промелькивать на телеэкране, обращая на себя внимание неизменно застенчивым выражением лица провинциального еврейского подростка с безнадежно окривевшим носом и тщетно пробивающейся реденькой бородачкой.

А с какого-то времени он уже прочно утвердился на страницах журнала «Форбс» как один из самых богатых и таинственных магнатов.

Во плоти Бенци впервые увидел Сему в приемной Министерства ресурсов. Сема явился туда, по-видимому, уже в качестве единодушно избранного главы огромного оленеводческого региона – прошел к министру без доклада в сопровождении своей дамы-кон-силъери в строгом брючном костюме и с еще более строгой черной папочкой под мышкой. Минут через пятнадцать Бенци понял, что аудиенция сегодня все равно будет скомкана, и, извинившись через секретаршу, начал спускаться по лестнице. Он уже дней пять ощущал сердце с еще более неприятным чувством, чем обычно, а потому спускался

медленно, и молодой паре ничего не стоило его настигнуть. Сема был явно раздражен, а дама смущена, она непрерывно оправдывалась и что-то на ходу показывала пальцем в утратившей строгость черной папочке.

Она продолжала оправдываться и у парадного подъезда, однако терпение Семы быстро иссякло. Не размахиваясь, вождь оленеводов влепил строгой даме пощечину – скорее символическую, вразумляющую, – сел в свой зеркальный лимузин и отбыл. Дама озабоченно посмотрела ему вслед, рассеянно потерла щеку, села в более скромную иномарку и тоже отбыла.

Шамира как существо бесполезное Сема не запомнил, но, познакомившись с ним на каком-то рауте, или, как выражались в Москве, тусовке, держался довольно вежливо, хотя и не проявляя особого интереса. Тем не менее Бенци счел возможным заговорить с ним о русско-еврейских делах, о той ответственности, которая ложится на плечи евреев, занявших видное положение в новой России, о том, что по ним будут судить, – словом, старая сказка о создании новой сказки. Сема слушал посланника исторической родины с обычным своим застенчивым видом еврейского шлемазла и – не возражал, не соглашался, но явно не понимал, какое отношение имеют все эти высокие материи к нему, Семе Рабиновичу. Краткое сообщение о содержании азота в верховом и низинном слое топяных и лесотопяных торфяников, похоже, вызвало бы его более живой интерес.

Во всех своих предприятиях, слухи о которых доходили до Бенциона Шамира, Сема оказывал такую изощренную расчетливость, что почти заставил стареющего инженера человеческих душ поверить в существование прагматиков – оставалось поверить в дибуков и русалок. Циники, прежде считал Бенци, самые наивные люди на земле – они воображают себя рационалистами. Правда, ему уже давно со смехом рассказывали, что Сема приобрел в Великобритании замок Айвенго и пытается возродить там нравы доброй старой Англии, – однако сами рассказчики тут же разъясняли, что все это делается исключительно для того, чтобы перенести бизнес в Соединенное Королевство, для чего и прodelываются все эти заигрывания с английской аристократией: чтобы выслужить английское гражданство, а еще лучше – рыцарское достоинство. Шамир тоже посмеивался, пока не прочел в газете, что Сема возродил в своем замке рыцарские турниры и на одном из них получил смертельный удар копьем: наконечник, с которого слетел предохранительный деревянный шар, вошел ему в левый глаз и вышел за ухом, поскольку Рабинович как истинный рыцарь без страха и упрека сражался с открытым забралом.

«Вот прекрасная смерть!» – подумал Бенци бог знает почему по-французски.

Вернее, понятно почему – здесь и в самом деле была уместна наполеоновская напыщенность, с такой прожигающей ненавистью изображенная Львом Толстым в его гениальном романе, которому Бенци когда-то посвятил целую главку в своей докторской диссертации (немцы у Толстого отнюдь не выглядели расой господ).

Мнимые рационалисты, придя в себя подвел он итог, отпав от неразумных коллективных сказок, подпадают под власть сказок индивидуальных, еще более сумасшедших.

И позавидовал Семе: ему-то самому не светил такой красивый уход...

* * *

Однако, если забыть об этом поразительном исключении, Бенцион Шамир в еврейских деловых кругах понемногу оказался в большом авторитете. Его даже начали приглашать на не слишком острые «терки», и он изредка даже изъяслял согласие и произносил свое авторитетное умиротворяющее слово. При этом у него хватало трезвости не соглашаться слишком часто и не требовать слишком много – тем более что даже это небольшое плохо совмещалось с его дипломатическим статусом. Так что он и здесь лишь однажды переоценил свои силы.

История была вполне рутинная. Два умных мальчика из очень хороших семей, скажем, Сережа Иванов и Алеша Петров, с комсомольской юности питавшие склонность к

государственной карьере, которой, однако, препятствовали чугунные грузила в виде еврейских мам, познакомились и сблизились на экономическом факультете. Оба закончили с «красным дипломом», оба прилично продвинулись в академической науке, оба увлеченно фрондировали, обсуждая варианты перехода к рынку, оба попали в «правительство младореформаторов», оба неплохо себя показали; когда выдохлась сказка о молодых теоретиках, знающих, как делается дело на просвещенном Западе, и на смену ей потребовалась сказка о пожилых практиках, знающих, как делается дело в уникальной России, оба переместились на весьма перспективные внеправительственные должности: Серега сделался директором бывшего Банка Прогрессивных Стран (БПС), Леха ушел в холдинг «Русская новь».

Президентом на «Русской нови» сидел ее создатель Роман Фейнман, бывший физик из Белоголовки, вошедший в историю тем, что первым в стране взял в аренду привокзальный сортир и начал брать деньги за то, что народ веками привык делать совершенно бесплатно. Народ, правда, попробовал протестовать, отправляя снаружи то, что полагалось делать внутри, однако милиция, обрабатывая заслуженный процент, проявила высочайшую принципиальность и сумела-таки канализировать финансовые потоки страждущих, число которых, кстати, резко возросло, благодаря наконец-то налаженной тем же Фейнманом бесперебойной продаже пива. Через некоторое время дальновидный Рома переоборудовал сортир в видеосалон, попал под суд за распространение порнографии, прославился как борец с совковым ханжеством – словом, в холдинг он пришел уже закаленным бойцом с лишенными всякого запаха немалыми по тем временам деньгами.

Холдинг уверенно шел в гору, занимаясь помимо всего, что блестит, еще и скупкой обещаний российского правительства – для этого требовался дар ясновидения, позволяющий отличать внешне легковесные, однако на деле серьезные обещания от обещаний с обратными свойствами. Леха таким даром обладал, поскольку сам же еще недавно и давал эти обещания. Поэтому «Русская новь» с его приходом заметно обновилась, а сам Леха сделался в ней вторым лицом после президента.

В итоге для Сереги было самым естественным делом на дружеских условиях сдать «Нови» одно из зданий БПС, а также ссудить ей по божеским процентам значительную даже и для БПС сумму. Ожидая, разумеется, какого-то ответного расположения, которое тем не менее все никак и ни в чем не выражалось. Арендные цены росли, проценты тоже, а поступления от «Русской нови» прочно сидели на нуле. Серега, пожалуй, еще и согласился бы ждать, однако его акционеры не проявляли подобной деликатности, так что в конце концов ему пришлось отправиться для объяснений в логово друга.

Леха, потупясь, помалкивал, зато президент держался с аристократической прямоотой: или ты от нас отъе... ся – или мы тебя посадим, вся инфраструктура у нас есть – свои прокуроры, свои следователи, свои судьи, свои конвоиры. Как же, но я же, но вы же, но мы же, залепетал ошеломленный Серега, но был оборван: «Мы сказали – ты слышал».

Когда потерянный Иванов добрался за советом уже и до Шамира, Бенци показалось, что тот посидел в два дни и три ночи. Собственно, просил Серега только об одном – поприсутствовать при последней попытке: быть может, президент с вице-президентом устыдятся столь заслуженного соплеменника. Бенци понимал, что нарушает инструкции, но отказать утопающему еще и в последней соломинке не сумел.

«Терка» состоялась в изысканном японском ресторане «Харакири». В отдельном кабинете, оплетенном обморочно размалеванными драконами и питонами, под сверкающим орнаментом самурайских мечей и кинжалов. Бледный, опростившийся, поседевший Серега сбивчиво растолковывал, что банку он не хозяин, что акционеры не позволят ему – и так далее, но Фейнман, напоминающий надраенного черной сапожной ваксой щетинистого кабана, был аристократически афористичен: «Выбирай сам, под кого ложиться. Но запомни: ляжешь под них – будешь лежать на нарах». – «Но что я могу

сделать?..» – «Думай. Можешь провести против нас судебный процесс так, чтобы наверняка проиграть. Мало ли что. Думай. Это твоя проблема».

Леха Петров, миниатюрный парикмахерский красавчик с тоже тронутой сединой мальчишеской челкой, не поднимал глаз от лакового подноса с пестренькими сверточками японской рыбы, казавшимися ломтиками нарубленной змеи, и в его бессловесности Бенци почувал ахиллесову пяту альянса Фейнман – Петров.

Вы же интеллигентный человек, с отеческой нежностью начал перечислять Бенци, обращаясь к Лехе, ваши родители известные уважаемые люди, перед вами старый товарищ, с которым вы когда-то мечтали построить новую Россию, разве такой вы хотели видеть русскую новь, вы, кому досталось все лучшее и от русского, и от еврейского народа... Бенци старался выглядеть как можно более простодушным, зная, что от блаженного, чье моральное превосходство уравнивается его социальным убожеством, подобная смесь увещаний с лестью принимается намного легче, чем от мудреца и гордеца.

И все-таки, по-видимому, он в чем-то недосластил. Если только подобное блюдо вообще можно сделать съедобным при помощи патоки.

И если только у Петрова действительно оставалась реальная возможность отступить, если он тоже не был невольником своей корпорации. Может быть, именно оттого, что Бенци удалось-таки расшевелить его совесть, а отступить все равно было некуда, Леха и взбесился:

– Да что вы по нимаете в деньгах, вы их когда-нибудь видели?!. Вы когда-нибудь видели семьдесят миллионов долларов?!

Тем не менее Бенци наверняка сохранил бы свою мудрую кротость, если бы Леха лихорадочным трением большого пальца о средний с указательным не изобразил некое циничное пересчитывание денег. Леха, по-видимому, бессознательно воспользовался классическим приемом скунса – выказать столь дурно пахнущую вульгарность, чтобы отбить у собеседника охоту продолжать общение с таким гадким существом. Бенци, однако, был не готов к подобному повороту и, вопреки рекомендации Талейрана, не справился с первым движением души – его передернуло:

– Считаете себя сливкой общества, а ведете себя как... как урка!

Леха побелел и рванул уже со всех тормозов, чтобы сделать продолжение разговора окончательно невозможным:

– Слушай, ты! Тебя не е... – не подмахивай!

Бенци не почувствовал ни тени оскорбленности, оскорбить его мог только тот, к кому он относился бы серьезно, то есть практически никто, однако он успел сообразить, что на кону стоит вся его работа в России – то есть вся сказка, на которой основывалось его влияние. Понимая, что еще мгновение – и ничего поправить будет уже нельзя, он поймал краешком взгляда коричневую мисочку с торфяным соусом и молниеносно выплеснул его Лехе прямо в сорвавшуюся с цепи физиономию.

Соус был острый, и Леха замычал как резаный глухонемой. Опрокинув стул, он заметался среди кроваво-гнилых драконов и питонов, отыскивая где-то тут обретавшийся кувшин с водой на узеньком столике со змеящимися ножками – кой он тут же и смел со всеми японскими бебехами. Сквозь перезванивавшуюся бисерную дверь выныривали и прятались перепуганные гейши, поседевший опростившийся Серега каменел с разинутым ртом, Фейнман тоже застыл в напористом стоп-кадре, напоминая голову вепря над охотничьим камином. Бенци наблюдал за картиной, стараясь сохранить полное самообладание: в борьбе за сказку хороши все исходы, кроме смешного.

Когда сострадательно щебетавшие гейши наконец промыли и многократно промакнули вице-президента Петрова и он сумел заплаканными красными глазами снова увидеть мир, Бенци уже протягивал ему сверкающий японский кинжал:

– На вашем месте я сделал бы харакири. Себе или мне.

Он был готов к любому исходу. Если бы Леха набросился на него с кинжалом, было бы даже интереснее. Но Леха смотрел изумленно и затравленно, а слезы все лились и лились из его рубиновых глаз на изгаженный смокинг.

* * *

Сергея уверял, что Леха этого Шамиру так не спустит. Леха, однако, спустил.

Сам Сергей, пометавшись, в конце концов сумел выйти на главу тогдашней госбезопасности, и тот выслал на выручку своего ординарца-полковника, когда группа захвата, захватив кандалы и колодки, уже выезжала брать гражданина Иванова в его собственном офисе. Посланник гэбэ встретил их в дверях и предъявил красную пайцзу от имени того, кому в недалеком будущем предстояло сделаться героем светлой сказки о гэбистском Савле, превратившемся в демократического Павла, чтобы, тоже не в таком уж далеком будущем, еще раз переродиться в героя страшной сказки о всемогущем агенте гэбухи в рядах неокрепшей российской демократии.

* * *

Слухи о японском инциденте были неотчетливы, и начальство Шамиру лишь слегка попеняло. Однако обращаться с ним начало заметно более тепло. Попросив тем не менее снизить уровень интимности в общении с российскими деловыми кругами.

Нельзя сказать, что Бенци с очень уж большим сожалением перестал принимать приглашения в русскую баню, хотя некоторый вкус к баннным радостям он, как ни странно, таки приобрел. В облегченном, разумеется, варианте, «лайт», если выразиться на нью-рашен инглиш: дыша квасными ароматами, посидеть на нижней ступеньке полка, отдохнуть в простынной тоге у мраморного бассейна – в этом что-то было. Полегче на душе становилось на некоторое время. Почему-то. Даже владыки жизни, всегда готовые на укус ответить укусом, делались в бане как-то мягче. Душевнее. Погружались, стало быть, в какую-то сказку, ибо иного пути к душевности не существует. Душа человека – это и есть способность жить сказками.

И тем не менее, когда Бенци отказался от баннных утех, его партнеры приняли это как-то подозрительно легко: видимо, чем-то он их все-таки сковывал.

Опасением, может быть, что в глубине души он их все же осуждает. Хотя Бенци относился вполне снисходительно и к мрамору, и к малахиту, и к лоханям с шампанским, и к обнаженным нимфам: он прекрасно понимал, что низкопробная сказка о красоте и могуществе может быть вытеснена уж никак не обличениями, но лишь другой сказкой, более высокого разбора, однако дарящей более соблазнительные чары. Серьезное отношение к человеку – верный путь к человеконенавистничеству, и Бенцион Шамир не хотел заходить по этому пути слишком далеко, по крайней мере сознательно. Обнаженное женское тело, открытое равнодушным либо похотливым взорам, никогда его не возбуждало, вызывая лишь мучительное ощущение хрупкости и незащитности всего земного, и, хотя он старался этого не показывать, остальные, по-видимому, все равно чувствовали исходящее от него *memento mori*.

Хотя, быть может, все было гораздо проще: в его присутствии были невозможны не только излишества в духе Калигулы и Нерона, но даже относительно скромная, «лайт», античность: плату гуриям приходилось вручать прямо в руки, не заставляя их подползать на четвереньках, не заставляя подпрыгивать, пытаясь ухватить стодолларовую купюру зубами: «Служи, служи!..»

Да что уж там – серьезные люди должны сами понимать, что они всех обременяют, и не дожидаться, пока другие дадут им это понять открыто.

* * *

Бенцион Шамир понимал, что воображаемый мир, в котором живет он, разрушителен для тех воображаемых миров, в которых живут остальные, а потому не только не удивлялся, когда его кто-то избегал, но скорее дивился, что его избегали не все. Более того, к нему тянулось не так уж мало народу. В том числе русские из русских, с отчетливым даже юдофобским шлейфом. Казалось даже, они давно искали случая

признаться достойному представителю еврейского народа, что всегда любили и уважали еврейский народ и что русским стоило бы поучиться у еврейского народа и взаимопомощи, и любви к образованию, и предприимчивости, и еще пятому-десятому-сто восемнадцатому. И Бенци при каждом удобном случае заклинал: не надо нас любить, чтобы после не возненавидеть вдвойне. Ни один народ на свете не заслуживает любви, любить можно только сказку о народе, и каждый народ способен любить исключительно собственную сказку, а чужие лишь до тех пор, пока они не мешают восхищаться своей, ибо отказаться от своей сказки для всякого народа означало бы исчезнуть.

Этот набор Шамир употреблял с русскими из «отсталых». «Передовые» же, помимо стандартных уверений в любви и уважении к евреям, старались еще и как-нибудь обругать собственный народ – который, впрочем, заслуживал этого ничуть не меньше, чем все прочие народы, когда-либо колобродившие в подлунном мире. Чаще всего русскому народу ставилось в вину нежелание расстаться с позорным прошлым, а также совершенно иррациональное стремление к рабству, и Бенци оставалось лишь день за днем изображать вопиющего в пустыне: никакой народ никогда не стремился и не будет стремиться к рабству, все народы, пока они остаются народами, равно как и все люди, пока они остаются людьми, всегда стремятся и будут стремиться только к красоте и бессмертию, а рабство всегда возникало и будет возникать исключительно как непредвиденное побочное следствие – все народы и создает, и губит жажда красоты; по этой же причине ни один народ не сможет воспринять свое прошлое позорным – в его власти, самое большее, представлять прошлое трагическим заблуждением, в котором ужасное и отвратительное поразительным образом слиты с трогательным и восхитительным; по этой же причине никому никогда не удастся развенчать Сталина, изобразив его ничтожеством: превратить его возможно разве что в оперного злодея, коварного колдуна, ухитрившегося поставить себе на службу самые высокие человеческие стремления. Сделать Сталина героем страшной сказки очень даже можно, сделать его ничтожеством, правившим другими ничтожествами, нельзя. И не потому, что это было бы неправдой, правда волнует народы в самую последнюю очередь, но потому, что для народа это было бы гибелью: народ способен видеть себя в своем прошлом запутавшимся и несчастным, но никогда – жалким и трусливым. И от того, кто попытается навязать ему такой образ, он не примет никаких благ и уроков, не только сомнительных, но и бесспорных, если бы даже таковые могли существовать в человеческом мире, который всегда жил, живет и будет жить в сказках, предоставляющих полный простор ужасному, но ни единой пяди мелкому и постыдному.

* * *

Если бы Бенциона Шамира попросили подвести главный итог его жизни, он бы сказал так: самые важные исторические и личные события происходят в человеческом воображении. А потому люди поступают только разумно, когда обставляют свой основной мир (внутренний) по законам красивой сказки, а не по законам ужасной реальности, данной им в плотских ощущениях, но не в душевных переживаниях. Однако вечный спор духа и плоти, вечный конфликт переживаний и ощущений совсем необязательно доводить до братоубийственной войны, совсем не обязательно отрицать факты, если их всегда можно красиво интерпретировать.

Поэтому Бенци был лишен обычной своей снисходительности по отношению к старухам, трясущим седыми патлами над портретами Сталина. К ним можно было бы снизить, если бы от них требовалось сменить красивую сказку на ужасную правду – на такое готовы лишь безнадежные простаки, вроде Бенци Давидана, – но ведь они вполне могли, не отрицая ужасных фактов, заменить одну красивую сказку на другую, столь же красивую!

Или не могли? Тогда это преступление со стороны новых идеологов – отнимать старые сказки, не сунув немедленно новых.

А советскую сказку, чувствовал Бенци, можно было сделать очень красивой, ни в едином слове не солгав, твердо именуя злодеев злодеями, предателей предателями, трусов трусами, а палачей палачами. Он вглядывался в нелепую сталинскую Москву, он вглядывался в «сталинские» дома всевозможных Советских улиц всех подгримированных русской новью под американские задворки областных городов, где ему приходилось бывать по еврейским делам, – и, сталкивая зрение Берла со зрением Бенциона Шамира, всюду прозревал высочайшую тему всех мировых трагедий – тему напрасной жертвы, тему обманутой веры, тему великого добра, обернувшегося величайшим злом, тему грандиозной мечты, породившей бескрайнее царство заурядности...

У него захватывало дух от незримой схватки величайшего подвига с величайшей низостью, когда четверкой своих глаз он вглядывался в кровавый рубин пылающих пятиконечных звезд Кремля с той самой выгнувшей панцирную спину ночной Красной площади – с нее его в бессознательном состоянии и увезли в карете «скорой помощи».

Ему повезло. Была весна, и он не успел простудиться, отлежав неопределенное время на мокрой брусчатке. К тому же, падая, он ничего себе не расквасил, и его трудно было принять за пьяного. Такого приличного седовласого джентльмена.

* * *

Он не зря носил в своем дипломатическом паспорте компьютерную распечатку, обещающую солидное вознаграждение тем, кто позвонит в посольство и обеспечит доставку владельца паспорта в специализированную клинику.

Клиника была хороша решительно всем, российская элита и жила, и умирала по международным стандартам, но наготы мира, с которого были сорваны все сказки, она скрыть не могла. Напротив, она требовала самого невозможного – смотреть правде в глаза. А правда заключалась в том, что Бенциону Шамиру была необходима неотложная операция на сердце. Иначе он в любой момент мог присоединиться к большинству.

Нужно было срочно возвращаться в Тель-Авив: мало того что в России могли возникнуть проблемы с оплатой, но на родине имя Шамира еще что-то значило, там подобные операции делали лучше вообще, а «выхаживали» – в особенности, – однако все эти трезвые соображения не могли уничтожить ноющей боли неотступного страха. Бенци даже не приходило в голову у кого-то искать утешения: тех двух-трех человек, которых его смерть могла по-настоящему огорчить, ему пришлось бы утешать самому. Да и что такое утешение – создание новой защитной иллюзии, новой сказки, а у него на это единственное спасительное средство уже давным-давно выработалась неодолимая аллергия.

Главную боль несла не просто мысль о подступающей смерти, но мысль об отсутствии красивого оправдания этой смерти. «Высокую цель, дай мне высокую цель!» – неотступно молила изнывающая душа, пока Шамир в спешном порядке заканчивал свои российские дела, но ему приходилось отвечать ей одно: Бог подаст.

Пока однажды вечером взгляд его не остановился на жеваном портсигаре Берла и, потоптавшись на нем, не начал наливать какой-то еще не понятной самому Бенци надеждой.

«Вот!» – наконец с несказанным облегчением понял он.

Рискуя жизнью, он исполнит последнюю волю друга. Нелепую волю, вот что особенно великолепно, – нелепость делает подвиг лишь еще более прекрасным!

Бенци достал из портсигара покоробившуюся фотографию и долго вглядывался в почти неразличимые черты своего нелепого трогательного друга, а потом попытался припомнить имена остальных исчезнувших собратьев по канувшему в небытие Билограю, но вспомнить не смог ни единого.

Зато масляное пятно, оставленное Хилей, темнело во всей своей непросыхающей красе. Более долговечной, чем сердце Бенци Давидана.

III

Полет Бенцион Шамир переносил неважно. Мягко говоря.

Зато было совершенно некогда скучать.

Он ощущал в левой части груди перержавевшую гранату, которая могла рвануть от любого неосторожного движения (что, впрочем, было не так уж далеко от истины). Граната требовала неусыпной бдительности, зато и каждая новая попытка устроиться поудобнее, сходявшая ему с рук, наполняла его чувством глубокого удовлетворения и некоторого даже – да, почти блаженства, несмотря на стеснение и жжение в груди, напоминающее неугасимую изжогу. Ломота же во всем теле напоминала Бенциону Шамиру ни более ни менее как об истории человечества, которому тоже постоянно необходимо переустраиваться в младенческой надежде, что существует какая-то совершенная поза, в которой уже никогда не будут затекать ноги, неметь спина и удастся наконец так пристроить левую руку или верхнюю челюсть, что дергающая боль в них исчезнет, – хотя причина боли не в них самих, а в износившемся сердце, в прохудившихся сказках.

Но когда неосторожное встряхивание совершал не (якобы) хозяин сердца, а самолет, для такого профана, как Бенци, совершенно неотличимый от израильских, французских, мексиканских и всех прочих «стальных птиц», на которых ему доводилось летать, душа отвечала не импульсом бдительности, но спазмом страха: неподвластная его воле сила перехватывала – если бы только горло – всю грудь! – и отпускала, не просто немножко попугав, но непременно додержав до твердой уверенности, что последний вдох так и окажется последним вздохом. И единственным, что позволяло удержаться над черной трясиной беспросветного ужаса, была гордость: если даже ему сейчас и суждено умереть, это будет красивая смерть – он пожертвует жизнью ради дурацкой выдумки нелепого погибшего друга.

И беспомощность сменялась надменной готовностью. Он играл значительную роль в красивой драме, а это, в сущности, единственное, что требуется человеку.

И все вокруг, кто невольно включался в эту драму, – все актеры второго плана и даже массовка, – каждый становился по-своему восхитителен: кто значительностью, кто ординарностью, а кто даже и ничтожностью. Тот пророк, который подарит миру иллюзию участия в великой драме, – он и сделается спасителем человечества. Именно он исцелит его сердце, начавши с презрения к фантомным болям.

Но великим искусством может быть только трагедия, потому что смерть – самое большое, с чем нам приходится иметь дело. Неутомимые пигмеи – пигмеи злые, пигмеи добрые, пигмеи порядочные, пигмеи бесстыжие – неустанно трудятся своими крохотными зубильцами, стараясь источить в труху те остатки неуютных и опасных руин, которые все еще громоздятся вокруг наших термитников. И все-таки ничтожность для человека еще более ужасна, чем грандиозность, – пигмеям, самое большое, удастся достичь лишь того, что монополией на величие станут обладать одни только фашисты всех цветов и фасонов.

Хотя – надо отдать им должное – в последние десятилетия пигмеи сумели добиться, что теперь уже и титаны стесняются выпрямиться во весь рост в соседстве с ними. В эпохи романтизма ничтожества подражают гениям – в эпохи прагматизма гении подражают ничтожествам. России страшно не повезло, что именно сейчас, когда необходимы титаны, чтобы вытеснить старые исполинские призраки, она попала во власть пигмеев. Или «трезвых» людишек, действительно верящих в ту нищенскую сказку, что жизнь можно построить на рациональных основаниях.

За серебрищимся звездочками инея иллюминатором сияло бескрайнее облачное руно, скрывая от глаз ту самую сказочную страшную Сибирь с ее великими реками, таежными пространствами, исчезнувшими племенами... Бенци держал на коленях раскрытый атлас и, насадив на нос очки, вчитывался в рассыпанных по российскому туловищу червячков микроскопических надписей – башкиры, чуваша, марийцы, излюбленные Берлом татары, ненцы, энцы, ханты, манси, эвенки, эвены, буряты, якуты, долганы, нганасаны, хакасы, шорцы, коряки, чукчи, ительмены – боже правый, какой исполинский котел сказок! Гольды, правда, куда-то пропали, но зато, наверно, хотя бы гольдманы остались...

Какой невероятной красоты радуга могла бы воссиять из этой радужной смеси, из-под этого белокипенного руна!..

Но под облачным каракулем самолет каждый раз встречало привычное царство ординарности – ординарнейший бетон, ординарнейший немытый аквариум аэровокзала со всеми полагающимися признаками цивилизации: всюду на витринах неизменная пицца, всюду пассажиры в неизменных тишотках и бейсболках. Ни охотников, ни старателей, ни рыболовов, одни олениводы где-то остались, осиротевшие без своего великого шамана Семы Рабиновича... Да, Россия на редкость успешно справляется со своим тоталитарным прошлым, со сказочной быстротой устремляясь от ординарности с претензиями к ординарности без претензий.

Бенцион Шамир в своих интервью много раз повторял, что цивилизация – это движение от дикости к пошлости, и только в Сибири он понял, насколько он был неправ: пошлость есть имитация чего-то утонченного, высокого, а надвинувшиеся на мир полчища пигмеев не желали даже и притворяться, даже имитировать что-нибудь высокое, они прямо-таки требовали быть мизерными и гордиться этим...

Один только атлас еще чаровал волшебными именами – Уральский хребет, Тургайское плато, Восточный Саян, Западный Саян, Байкал, Амур, Большой Хинган, Малый Хинган...

Разглядывая карту, Бенци, к своему удивлению, обнаружил, что Ерцево расположено ниже Нядомы – значит, он его с чем-то спутал. Мо жет быть, с Емецко м? А то и с Мудьюгой? Он же тогда старался ничего не слышать, да и видеть как можно меньше, и в память, похоже, просто запало нескончаемое сипение рехнувшегося сребробородого еврея, без конца бормотавшего под согбенными фигурами закопченных праведников: «Ерцево, Ерцево, Ерцево, Ерцево...»

Или все-таки Ярцево, Ярцево?..

А может статься, их от Нядомы и впрямь повезли обратно в Ерцево, и так быть могло...

Бенци спохватывался, что уже и сам начинает бормотать себе под нос, и косился на мальчишку лет пяти-шести, вертевшегося в соседнем кресле. Мальчишка, похожий на необыкновенно живого и любознательного поросеночка, не давал надолго забыться, то и дело задевая нывшую левую руку старого беженца, бегущего от мира, оставшегося без сказок. Поросеночка занимало решительно все в его странном соседе – часы, усы, манера откидывать голову и ловить ртом воздух, а затем поспешно прятать под язык застывшие капельки крови – нитроглицерин, от которого начинало распирать голову. Правильно, умница, растроганно думал Бенци, в мире увлекательно все; а вот когда научишься отчетливо различать нужное и ненужное и неуклонно интересоваться только нужным, превратишься в кабана вслед своему папаше с могучим загривком и еще более могучим пузом, обтянутым всползающей к бабьим титькам черной тишоткой с белой надписью, которую Бенци никак не удавалось прочесть, угадывая в ней, однако, слово «карамель», хотя на самом деле это было скорее «Kiss my ass». Зато белесая свиная щетина вокруг вулканического пупа все время оказывалась намного разборчивее, чем хотелось бы.

Кабан тоже любил пиво, а полет к новой Земле обетованной времени поглощать его отпустил втрое щедрее – кабан уже наливался пурпуром, словно небо за хвостом их самолета, и пивная пена, казалось, вот-вот начнет извергаться из его маленьких мясистых ушей, но пока из всех его крупных пор струился только пот. Кабан становился все громогласнее и громогласнее, на стюардессу уже не просто покрикивая, но даже пытаясь напутствовать ее набрякшей ладонью пониже спины, так что Бенци постепенно начал всерьез задумываться о преимуществах того идеала цивилизованности, который показался ему столь жалким в любителе пива, сопровождавшем его из классической Обетованной земли: даже такая убогая сказка все-таки лучше, чем бесхитростное свинство.

Но когда свинство его спутника начало переходить уже и полицейские границы, до Бенци наконец дошло то, что уж кому-кому, а ему следовало бы понимать с самого

начала: человек всегда остается человеком, и, если даже он ведет себя как свинья, все равно он рассказывает себе какую-то сказку о том, что быть свиньей – это красиво.

* * *

Почему тот неуязвимый для слонов и носорогов радужный пузырь сказки, в котором живет всякая поэтическая натура, так часто оказывается беззащитен перед блохой? Сопротивление блохе не может быть красивым. Это знают и натуры непоэтические, которых, впрочем, на свете нет и быть не может: своя поэзия есть даже у тех, кто принимает блоху за слона и наоборот.

Таксист в хабаровском аэропорту, напоминавший стареющего Хилу, набившего пасть золотыми коронками, выломанными у торговцев с партиябадского базара, заломил цену, неслыханную ни в Париже, ни в Нью-Йорке, однако Бенци, ощущая себя богатым иностранцем в бедной стране, не возражал, и, может быть, напрасно. Нью-Хиля остановил машину с японским правым рулем посреди неведомо чего в непроглядном мраке и потребовал сто дополнительных баксов – иначе он дальше не поедет. «Наличкой» Бенци располагал, поскольку у него были серьезные сомнения в надежности биробиджанских банкоматов, которые он, по израильской привычке, именовал каспоматами, а из столкновений со скотами Бенцион Шамир всегда стремился выйти не с наибольшим ущербом для скотов, а с наименьшим ущербом для себя, – и все-таки чувство беспомощности перед мерзким насекомым вновь обнажило перед ним скотскую природу мироздания.

В черном свете правды ему показался страшным уже и вышколенный портье: сквозь его предупредительность все равно зияла главная царящая в мире стихия – безразличие. Единственный спутник Бенциона Шамира – чемодан на колесиках – был доставлен в номер «люкс» транснациональным швейцаром, однако сердце Бенци продолжало скакать по всему телу, больно стучаясь то в висок, то в пах. Бенци одну за другой закидывал под язык рубиновые капельки нитроглицерина, но добился лишь, что окончательно разбухла и без того измученная перелетом голова – невыносимо хотелось просверлить в ней дырочку, чтоб хоть чуть-чуть сбросить избыток пара.

Бенци ясно понимал, что, если он сей же час не расслабится и не погрузится в сон, дело может кончиться очень плохо. Но мыслимо ли заснуть по заказу, да еще и сей же час!.. Его охватила паника – потребовалась вся его воля, чтобы сей же час не кинуться куда-то, разыскивать каких-то докторов, совать им деньги: только спасите, я отдам все, что у меня есть! Не обнаружив во внутреннем кармане портсигар Берла, он не почувствовал ни малейшего огорчения: вся эта затея вне развеявшегося сказочного контекста обернулась обыкновенной дуростью, из-за которой он теперь обречен на смерть в какой-то нелепой советской гостинице, среди нелепой громоздкой мебели из какого-то неуместно красивого янтарного дерева, многоструйного в коричневых точечках, не иначе из какой-нибудь Карелии заброшенного в Хабаровск, чье имя еще с ерцевских времен прочно ассоциировалось у Бенци с блатным словечком «хабарик». Бенци дал себе страшную клятву с первым же утренним рейсом прорываться обратно в Москву и, если каким-нибудь чудом удастся добраться живым, немедленно бронировать билет на родину, чтобы больше никогда до конца своих дней не преступать ее благословенных границ.

Между тем он прекрасно понимал, что силу духа ему может вернуть только какая-то красивая сказка, и попробовал представить, что где-то рядом присутствуют тени папы, мамы, Фани, Рахили, Шимона-Казака, каким он был когда-то, но душа – способность жить сказками – уже покинула его тело и не могла доставить ни малейшего утешения его рассудку, более чем когда-либо отчетливо понимавшему, что все они просто исчезли без следа – точно так же, как это происходит с раздавленным червяком или перегоревшим радиоприемником.

Впрочем, фантазия отнюдь не полностью отказалась служить ему, охотно творя всевозможные бредовые кошмары: когда он наконец решился вызвать неотложную помощь, в номер, на ходу застегивая нечистые белые халаты, ворвались три мордоворота,

вроде тех, что когда-то пришли за его папой, опрокинули его на носилки, бегом сволокли по лестнице мимо онемевшего портье, визжа тормозами, промчались по каким-то непроглядным трупобам и вытряхнули его из носилок в бетонном подвале с единственной голой лампочкой на виселичном шнурке. Затем, потешаясь над богатым заграничным «лохом», освободили его карманы от драгоценной валюты, а его самого с сатанинским хохотом сунули головой в исполинскую мясорубку, у выходного дуршлага которой уже давно дежурила на задних лапках нетерпеливая стая голодных крыс...

В итоге, собрав в кулак остатки улетучившейся воли, Бенци проглотил микроскопическую дыньку могучего снотворного, без которого как опытный путник он не делал и шагу, запил холерными вибрионами из стеклянного кувшина и накрылся проглаженной простыней в полной уверенности, что покрывается саваном.

Кондиционер отсутствовал, и крепнущей с каждой минутой ночной духоты было более чем достаточно, чтобы убить его за два-три часа. Бенци знал, что страх поразительно убыстряет течение времени: когда остаешься прикрывать отступающий отряд, имея пулемет и приказ отойти не ранее чем через час, уже через пять минут начинает казаться, что час давно миновал, через десять – что прошли уже сутки, а еще через пять минут начинаешь беспрерывно встряхивать и прикладывать к уху часы в полной уверенности, что они стали. Так что почти наверняка и теперь его смерть вопрос недель, а то и месяцев, подсказывал ему рассудок, а не дней или тем более часов, как уверяла душа, ее останки, – однако только их голос и имел значение.

* * *

Его мог спасти один, всего лишь один глоток красоты, и Бенцион Шамир попытался вообразить, что почувствовал бы тот съезжившийся в спору мальчик Бенци, если бы ему сказали, что когда-нибудь он, признанный писатель, ветеран войны и дипломат, объехавший полмира, будет лежать на крахмальных простынях в номере «люкс» у входа в Красный Сион и даже, подобно Моисею, не исключено, что не сможет войти в него, соединившись с праотцами на рубеже Земли обетованной, – но воображение упорно отворачивалось от красивого, с готовностью подсовывая ему только новые и новые ужасы и безобразия.

А если оно и снисходило на мгновение-другое извлечь из небытия для своего (якобы) хозяина родных ему людей, оно тоже рисовало их лишь в самые ужасные мгновения: скрюченный папа с набившимся в чаплинские усики снегом, Фаня, заложённая в исполинскую поленницу, откуда свисала лишь ее простреленная головка, раскачивающаяся мама, рвущая полуседые космы над распростертой Рахилью в мокрой юбке, Шимон, вдавленный лицом в глиняную пыль коленом старого разведчика... Лучше бы ему их и вовсе не видеть.

* * *

Тем не менее ночью они явились ему все...

Вернее, он к ним явился. Папа, мама, Фаня, Рахиль, Шимон, обсыпанные трухой, сидели в манеже на соломе и ласково смотрели на него, один только Берл прожигал его огненным взглядом, держа свою чугунную ногу наперевес, как автомат, но Бенци все равно был несказанно ему рад и, захлебываясь счастливыми слезами, все повторял и повторял, что теперь они больше никогда не расстанутся, теперь, когда они уже знают, что почем, они на всю жизнь останутся в этом манеже рядом друг с другом: в первый раз им, по детской наивности, казалось, будто жизнь в этом таборе невыносима, что нужно любым способом куда-то отсюда вырваться, а это, оказалось, и было величайшим счастьем: все были живы, все были вместе – какая разница – на соломе, не на соломе...

Даже проснувшись, Бенци некоторое время все еще продолжал всхлипывать без слез, но – он сразу почувствовал – ему стало намного легче: удалось забыть о себе, переключиться на чужие страдания, а они всегда пробуждают какую-то силу в отличие от собственных, способных только повергать в отчаяние. Человек создан, чтобы служить, и

Бенци снова был готов встать в строй. Он вспомнил, что сам же перепрятал портсигар Берла в чемоданчик, и, разумеется, тут же его отыскал.

В груди теснило и жгло по-прежнему, но прыжки, которые выделявало сердце, словно обезьяна на раскаленной сковородке, были вызваны прежде всего паникой, а потому почти прекратились. Что еще было приятно – очумелость после снотворного притупила остроту его зрения, пригасила облако ассоциаций, порождаемых всем, что попадалось ему на глаза, а именно ассоциации-то и причиняют главную боль.

Номер при солнечном свете был совсем не плох, только имперски тяжеловесен, да, по советскому обычаю, с фаянсового унитаза бачка была свинчена кнопка, пришлось давить большим пальцем на острый витой стержень из белой пластмассы.

Шведский стол тоже был недурен. Бенцион Шамир хотел ограничиться кукурузными хлопьями с молоком да ложкой размоченного чернослива, но Бенци не удержался и зачерпнул ядерной красной икры, которая щедро светилась и просвечивала на каждом крахмальном столике.

* * *

Идти по теневой стороне было не так уж жарко.

На центральной улице довольно многие дома были окрашены русской сказкой в духе югендстиля, в России именуемого стилем «модерн»; хватало и зданий, меченных советской сказкой – пятиконечные звезды, скрещенные серпы с молотками, – и все-таки истерзанному сердцу Бенциона Шамира это было ближе, чем те контейнеры для обитания, которые измыслила самая плоская из всех человеческих сказок – сказка о том, что человек рационален, что физические ощущения для него неизмеримо важнее, чем душевные переживания.

От людей, которые о себе что-то воображают, еще есть шанс чего-то дождаться, но люди, которые ничего о себе не воображают, окончательно безнадежны. Сказка о том, что труд, проклятие Господне, облагораживает, при всей чрезмерности ее неправдоподобия все-таки являет собой одну из вечных безнадежных попыток превратить в высшую драгоценность что-нибудь тягостное и ненавистное: разумеется, человека создал и облагородил не труд, а воображение, способность жить сказками, дар усматривать в плодах своей фантазии нечто более серьезное, нежели простая реальность, – и все-таки сказка о труде – это не что-нибудь, а сказка, нечто человеческое, а не животное, и было почти трогательно видеть, как городские власти пытаются скрестить русскую сказку с советской: улица генерал-губернатора Муравьева-Амурского без всякого предупреждения переходила в улицу учителя Карла Маркса. И обе без лишнего шума осваивались китайцами.

Амур же был величав даже в сравнении с Амазонкой и Миссисипи, но сказка, еще вчера удерживавшая Бенци над пустотой, уже выдохлась, и грудь его еще сильнее стеснялась от тоски и безнадежности: как грандиозна природа – и как мал и мимолетен он сам!.. Еще вчера он был так же велик, как горы, сопки, реки, тайга, но сегодня...

Мудрецы, исповедующие миф как альфу и омегу всей земной премудрости, уверяют, что научная картина мира так же мифологична, как и все прочие, однако – увы... – они неправы: даже самые страшные мифы ставят человека в центр мироздания, превращают в предмет борьбы или, по крайней мере, внимания самых могущественных в мире сил, а научная картина начинается с того, что отказывает человеку в праве считать себя чем-то исключительным среди сонмищ других физико-химических процессов, она настаивает на том, что до человека, кроме него самого, никому и ничему в мире нет ровно никакого дела.

А потому даже самая страшная сказка, преподносящая мир как царство зла, все равно более утешительна, чем нагое царство безразличия. В сказке всегда есть за что уважать себя, ибо лучше противостоять дьяволу или року, чем блохам, раздувшимся до размеров слона.

Нескольких искорок сказки, снова затеплившихся в душе Бенциона Шамира, было уже достаточно, чтобы довести начатую глупость до конца – добраться до Биробиджана, исполнить долг и сразу же обфранговаться. Сначала в Москву и тут же в Тель-Авив. Хватит играть с огнем.

* * *

В поезде он тоже не встретил ни эллина, ни иудея, ни гольда, ни Гольдмана – люди как люди, включая китайцев, в которых Бенцион Шамир тоже не видел ничего неординарного.

То не страна бесплодных древних грез, то не народ Кармеля и Синая, вдруг вспомнил он Мейлеха Терлецкого, и вынужден был с ним согласиться: ни Кармелем, ни Синаем в Красном Сионе и не пахло – скорее, каким-нибудь Ерцевом. Да и среди грез, коими он был овеян, даже в еврейской среде Бенци не удалось раскопать ничего, кроме анекдотов. Евреи патетические при слове «Биробиджан» принимали скорбный либо негодующий вид: «сталинская затея», «заповедник для дрессированных евреев»... Евреи же эмансипированные начинали блудливо улыбаться: «Брежнев летит в Биробиджан, а самолет по ошибке садится в Китае. Брежнев выходит, смотрит на встречающих и говорит: ну что, жида, прищурились?» Или: «В Биробиджане открыли памятник неизвестному солдату Мойше Рабиновичу». – «Почему же он неизвестный, если известно его имя?» – «Да, но неизвестно, был ли он солдатом».

Бенцион Шамир на такие анекдоты отвечал грустной улыбкой: ему не нравилось, когда евреи начинали бравировать тем, в чем их обвиняли клеветники. Не надо плевок превращать в орден только из-за того, что они получены от глупцов и негодяев. Пусть плевок остается плевром, а орден орденом.

Бенцион Шамир считал, что никакой патриотизм невозможен без поэтического отношения к истории своего народа. И никакое поэтическое отношение невозможно без примеси сказки. Имя Биробиджана не обладало ни единой искоркой поэтичности, и в этом не было ничего удивительного: проще построить двадцать заводов, чем создать одну сказку. И если биробиджанская сказка не родилась, значит, все труды были напрасны: Биробиджан останется лишь в той еврейской истории, которая живет в книгах, но не останется в той единственно важной истории, которая живет в фантазиях.

«Мы родину строим у края страны, где слышится рокот амурской волны»... Жив ли этот сказочный Мейлех? Уж очень много кровавых волн прокатилось по «этой стране», как принято в России выражаться среди тех сливок общества, которые слились сюда, очевидно, с какой-то иной планеты... Но если даже этот Мейлех-Михаил еще и жив, он просто и по возрасту почти наверняка уже разменял десятый десяток.

* * *

Сказочный Биробиджан, как и предполагал Бенцион Шамир, несмотря на диковато выглядящие с советской стены вокзала затерявшиеся на чужбине ивритские буквы, оказался обычным советским Ленинохренском, ординарность которого лишь подчеркивалась мощью таежных сопков. Которые, впрочем, поскольку и они ничего не означали, все равно просились в русскую поговорку «Велика фигура, да дура». Но особенно жалок был фонтан перед вокзалом.

Однако в гостинице был только что осуществлен, как со значением подчеркнул корректнейший портье с безупречнейшей славянской внешностью, евроремонт. Он явно не слышал двусмысленности в корне «евр», и не мудрено: за два часа неторопливых, с нитроглицериновыми привалами блужданий по городу Бенци не встретил ни одного еврея: Еврейскую автономную область, ЕАО, с куда более серьезным основанием можно было перекрестить в Китайскую автономную область, КАО.

Поверхностный наблюдатель мог бы принять его за расиста, терзающегося страхом перед «желтой опасностью», видя, с каким упорством Бенцион Шамир, уже проголодавшись, избегает китайских закусок. Однако он усомнился бы в своем предположении, заметив, что пожилой джентльмен отказывается посетить и пиццерию.

Равно как турецкую кофейню и французскую кондитерскую, если бы они даже там и оказались: всем этим он был готов наслаждаться где угодно, а в особенности в каждой из них на ее собственной родине, но в Красном Сионе он желал попробовать хоть чего-нибудь еврейского.

Зато когда ему удалось выбрести на ординарную советскую «стекляшку» с вывеской «Шинок „У Шимона“», оказалось, что в этой «забегаловке» еврейский колорит использовался лишь в качестве чего-то явно экзотического и забавного: коктейль «740», салат «Бердичев», рыбная котлета «Рахиль»... Еще и с примесью советского кича: пятиконечных звезд, серпов-молотков, бюстиков Ильича и Виссарионыча, – чтобы довершить фарс, оставалось возложить к одному из них завешание Берла...

В туалете посетителя встречал огромный пронзительный глаз, над которым алела надпись: «КГБ бдит!» В последнем слове над буквами «б» и «д» какой-то шутник приписал горелой спичкой букву «з». (Кстати, спички лежали на каждом столике, причем на коробках было пропечатано на принтере фирменное предупреждение: «Кто похитит наши спички, тот получит по яичке».) Непосредственно над унитазом размещалась табличка явно советско-фабричного происхождения: «Работник, проверяй свой инструмент не реже одного раза в месяц!» В черном японском динамике едва слышно повизгивала космополитическая «Хава нагила».

Бенцион Шамир при всей снисходительности не мог бы назвать этот юмор еврейским. Даже в улице Шолом-Алейхема было больше еврейского – то есть нисколько. Игривые поделки и подделки лишь еще безнадежнее законопачивали робко проклевывающийся родничок поэзии, то есть сказки. Евреи в Биробиджане, похоже, играли такую же роль, как индейцы в Америке. Экзотика вымерших.

* * *

Настоящего памятника Сталину в городе, разумеется, не оказалось, зато стандартный монумент Ленину Бенци нашел без труда. Однако насчет Ленина у него не было никаких инструкций. Да и несколько странно было даже для его странной миссии перевозлагать истукану товарища Ленина дар благодарности трудящихся евреев, предназначенный истукану товарища Сталина.

Или он, Бенци, имеет право действовать под лозунгом «Ленин – это Сталин сегодня»?..

* * *

Бессознательно отыскивая хоть какую-нибудь песчинку неординарности, вокруг которой фантазия могла бы нарастить жемчужину хоть самой простенькой сказочки, ноги вынесли его на какие-то задворки задворок – и сердце его впервые поэтически дрогнуло, когда среди всепоглощающих «хрущоб» он увидел черные ерцевские бараки. Приятно – и страшно вместе, вспомнил он Пушкина, до истинной любви к которому он так и не сумел возвыситься – не хватало не то языка, не то включенности в какую-то нужную сказку. Он осторожно приблизился, с робкой надеждой ощущая, как в нем зарождается неведомая новая сказка, как душа стесняется лирическим волнением, – приблизился и обомлел: он стоял на улице Михаила Терлецкого.

* * *

Уже смеркалось, и богатому иностранцу, пожалуй, не стоило здесь надолго задерживаться, но он все стоял и стоял: в нарождающейся сказке всякий поворот был по-своему красив, а потому не страшен. Пускай бы он, Шамир, сын Сиона, канул без вести в Красном Сионе, подобно Иегуде бен Галеви...

Пробежали, радостно щебеча, две юные интернационального облика девушки в голубых джинсиках и ярких тишотках, зеленой и оранжевой.

– Простите, пожалуйста, – с изысканной любезностью окликнул их Бенцион Шамир, – вы не знаете, чьим именем названа эта улица?

Михаил Терлецкий, Михаил Терлецкий, озадаченно забормотали девушки, вперившись в надпись на номерном знаке.

– Герой Советского Союза! – первой догадалась оранжевая.

– Нет, Герой Советского Союза – это Иосиф Бумагин, – не согласилась зеленая. – Михаил Терлецкий – это, наверно, какой-то первопроходец.

– Благодарю вас.

Провлачился, пошатываясь, одутловатый лысый мужик с явными признаками алкоголизации.

– Не можете ли сказать, – еще более изысканно обратился к нему Бенцион Шамир, – кто такой этот Михаил Терлецкий?

Мужик так долго шевелил отвисшими фиолетовыми губами, вглядываясь в номерную надпись, что Бенци уже начал сомневаться, умеет ли он читать. Однако абориген в конце концов сумел-таки и понять, и осмыслить полученную информацию.

– Жид какой-то. Раньше их тут до п... ды было. Все в Израиль рванули. Наш климат для их не подходит.

– Благодарю вас. Я очень вам признателен.

* * *

Бенци укладывался в европостель в состоянии радостного предвкушения. Да, в груди по-прежнему теснило и немножко жгло, по-прежнему ныла левая рука, но кто же обращает внимание на такие мелочи! Мешал заснуть лишь какой-то нежный женский голосок, еле слышно выпевавший что-то до слез трогательное, казалось, над самым ухом. В конце концов Бенци даже удалось разобрать слова: «Один лишь только раз цветут сады в душе у нас...»

Образ был сильный, как всякая физически осязаемая аналогия между человеком и природой, – и, как всякая такая аналогия, ошибочен. Сады в нашей душе могут цвести столько раз, сколько сказок она способна пережить.

* * *

В библиотеке имени Д. Бергельсона безупречно интернациональная, то есть общеевропейская, девушка встретила заморского гостя как нельзя более радушно. Она была искренне расстроена, что никогда не слышала ни о Мейлехе, ни о Михаиле Терлецком.

Ее начальник – наконец-то, кажется, гольд, а то и нанаец с жестким ежиком, напоминавшим поседевшую сапожную щетку незабвенного Берла (а может, татарин? – то-то Берл бы порадовался!), – о Мейлехе Терлецком что-то слышал, но никаких его сочинений не читал, хотя по манерам был истинный европеец. Однако бедняга Мейлех и до европейцев, очевидно, не дотянул. Слово «европеец» в современной русской литературе – оно все еще комплимент или уже клеймо? Новой диссертации больше не написать, серьезные писатели теперь не занимаются серьезными вопросами, масштабность сегодня выживает лишь в союзе с невежеством, обычно к тому же скрещенным со злобой... Почему просвещение, когда-то превращавшее людей в титанов, ныне превращает их в пигмеев? Да все потому, что просвещение никогда не было просто просвещением, но всегда было чарующей сказкой о просвещении, обращало свой скепсис исключительно на чужие сказки, но никак не на собственные...

Спросите в центральной библиотеке, меж тем советовал любезный гольд, – хотя нет, там ремо нг... Да и в любом случае вряд ли что-то осталось, в начале пятидесятых всю еврейскую литературу списали и сожгли – сами знаете, как это называлось – устаревшая, неактуальная... вот что: попробуйте спросить в краеведческом музее, у них что-нибудь вполне могло сохраниться.

* * *

В краеведческом музее Мейлеха Терлецкого действительно знали. Милая брюнетка в каплевидных очках с тонкой металлической оправой – она на мгновение пригрезилась Бенци зрелой Рахилью, какой та, увы, так никогда и не стала, но не будешь ведь спрашивать о таком щекотливом предмете: еврейка, не еврейка... – сквозь биробиджанскую флору и фауну провела Бенциона Шамира к зальчику материально-

духовной продукции раннего Красного Сиона. И там, за чучелом яростно оскалившегося уссурийского тигра, чьи подвиги самозабвенно воспевало чучело хинганского глухаря, меж разошедшейся продукцией сан-но-тележного объединения «Красное колесо» и бочечно-клепочной артели «Красный клещевик», прямо над венским «биробиджанским стулом» Бенци открылась доска объявлений, вроде тех, что развешиваются по вокзалам, – «Их разыскивает милиция». К доске были приклеены несколько норовивших свернуться желобком пожелтевших фотографий, мало отличающихся от той, которую Бенцион Шамир всю жизнь протаскал в жеваном портсигаре Берла.

И каждая из них являла Мейлеха Терлецкого в новой ипостаси. На самой первой Мейлех в красноармейской фуражке с пятиконечной звездочкой, из-под которой струился роскошный чуб (Мейлех-казак да и только!), словно охотник над тушей загарпуненного моржа, гордо поставил ногу в галифе на бревно, вонзив в него устремленный ввысь торжествующий багор. Мейлех был в маленьких круглых очках, гордо оседлавших тот самый еврейский нос, какие в России почтительно именуют шнобелями, – этакий еврейский Сирано... Затем он же браво восседает за рулем небольшого трактора со стальными колесами, передними совсем маленькими и плоскими, а задними зубастыми, высотой почти в человеческий рост, – «фордзоны», кажется, они назывались, эти тракторочки. Мейлеху явно известно, куда он правит свой трактор, пятиконечная звезда уверенно влечет его вперед и вперед. Затем он же в компании ему подобных еврейских юнцов в серых косоворотках составляет окружение солидного, как еще недавно выражались, «товарища» тоже сугубо еврейской – однако уже и европейской – внешности: биробиджанское литературное объединение во главе с известным идишистским писателем Давидом Бергельсоном. С биробиджанским литературным объединением соседствовал небольшой отрядик народного ополчения под Москвой – одеты кто во что, но Мейлех Терлецкий красуется в красноармейской шинели и пилотке все с той же пятиконечной звездочкой; очки и шнобель на месте, и даже чуб струится по-прежнему.

Мейлех Терлецкий в партиябадском госпитале; голова обмотана бинтами, как у старого разведчика, но очки и шнобель с неизменным бесстрашием устремлены в будущее. Как же они тогда разминулись, Мейлех и Бенци?.. А вот к этому моменту пути их окончательно разошлись: два совсем уж низкокачественных фото являли Мейлеха в фас и в профиль; лишенный своих роскошных кудрей Мейлех на первом упрямо смотрит из камеры в камеру, а на втором всем своим шимоновским ни перед кем не прогибающимся шнобелем дает понять, что он хотя и отвернулся, однако все видит. И тем не менее после десятилетнего перерыва гражданин Терлецкий предстал уже спокойным совслужащим в двубортном костюме и крупных квадратных очках; поредевшие седые волосы аккуратно подстрижены и причесаны. За ним следовал усталый пенсионер с осыпанной черным перцем родинок лысиной, а затем...

– Не хотите посетить квартиру Михаила Израилевича? – сочувственно спросила зрелая Рахиль. – Его вдова после его смерти открыла там музей.

Разумеется, Бенци хотел.

IV

Дух Мейлеха Терлецкого обитал на улице Михаила Терлецкого, в наименее трущобной ее части, в бетонном «блочном» доме в зловещую черную клетку крайне расточительно промазанных смолой швов. Согласно общепринятой сказке, «хрущевки» строили пятиэтажными по той причине, что некие стандарты, предписанные советской властью самой себе, не допускали шестиэтажных домов без лифта. Михаилу Израилевичу, должно быть, требовалась вся закалка его бурной юности и не менее бурной зрелости, чтобы ежедневно подниматься по этим бетонным ступеням облупленного расписного подъезда до самого чердака, куда вел вертикальный ржавый трап. Сизый жестяной люк был заперт на маленький висячий замочек, это Бенци с бессознательным облегчением отметил еще с предпоследней площадки: значит, он уже забрался выше некуда.

И все же эта перехватывающая дыхание высота, эта облупленность с идиотскими полуанглийскими надписями по ней гениально гармонировали с близящимся финалом готовой вот-вот развернуться перед ним драмы. Творец всемирной трагедии, как всегда, был неистощим на пронзительнейшие детали при полном отсутствии общего замысла, который зрителю постоянно приходилось брать на себя.

И Бенци брал его с величайшей готовностью. Его одышка была лишь на одну половину порождена усталостью, на другую же, лучшую, – вдохновением, то есть восторгом и предвкушением еще большего восторга: высокая высота символа таилась за этой низкой высотой проживания. Низкие подробности были великолепны, потому что работали на высокий замысел. Дивно многозначительна была предваряющая вывеска у подъезда, весьма саркастически трактующая тему увековечения: «Гранитные и мраморные памятники. Срочные заказы». Более сложную символическую функцию несла паутина трещин, покрывавших разбитое стекло на скромной табличке: «Михаил Израилевич Терлецкий, писатель». И чуть пониже, еще более скромно: «Музей-квартира».

Бенцион Шамир поймал плясавший на проводке уворачивающийся звонок и придавил его пальцем к стене. Он был уверен, что звонок не работает, однако за картонной серой дверью раздался бесцеремонно резкий и громкий звон.

Павшая за дверью звенящая тишина длилась так долго, что Бенци успел увериться в безнадежности своей затеи: посмертное жилище Мейлеха Терлецкого, судя по всему, опустело окончательно. Его все же тянуло снова позвонить, но было слишком уж ясно, что такой тюремный сигнал побудки не слышать невозможно.

Внезапно многослойный старческий кашель раздался у самого его лица, и под волосами Бенци пробежали щекочущие мурашки. Долго лязгал замок, и наконец – прямо в душу Бенци ударил так и не забытый, оказывается, дух еврейской билограйской нищеты. Однако возникшую на пороге оплывшую билограйскую старуху, портниху или стряпуху, лишь истинно гениальному режиссеру могло прийти в голову обрядить в переливающийся тренировочный костюм «Адидас по-китайски».

– Здоххавствуйте, что вам интехххесует? – спросила она с разрывающей сердце картавой певучестью, невыносимо трогательной, как все, что когда-либо могло послужить причиной безвинной смерти.

– Здравствуйте, меня интересует Мейлех Терлецкий, – со всей мыслимой почтительностью сообщил Бенцион Шамир.

– А... А вы откуда?..

– Я приехал из Израиля, я...

– Так ви што, ххади Мили из самого Исххаиля сюда пххихехали?.. Ви же пьеххвий посетитель с самого откххытия, наци евххэи к нам не ходят...

Из ее шоколадных еврейских глаз, неправдоподобно юных меж черепашьих век, по отечному лицу покатались слезы. Ее черты несколько не исказились – слезы катились сами собой, словно кто-то приоткрыл крантик. Она просто стояла в своем обвислом как бы атласном черном «адидасе» и смотрела на уважаемого пожилого еврея со старомодными седыми усиками, а слезы катились и катились по лиловым щекам, покрытым червячками малиновых прожилок.

Похожих на имена исчезнувших племен.

* * *

Бенциону Шамиру доводилось посещать жилища впавших в бедность советских интеллигентов, но здесь было что-то особенного. Некогда полированная, а ныне страдающая оспой мебель из прессованных опилок осыпалась, подламывалась, отвисала, разваливалась где только можно.

Переваливаясь на войлочных шлепанцах с растрескавшимся клеенчатым верхом, госпожа Терлецкая благоговейно демонстрировала палестинскому паломнику пиджак, плащ, письменный стол, чернильный прибор великого человека, каждый раз со значением упоминая об особой роли, которую сыграла в его жизни та или иная вещь.

– Этот чеххнильный пххьибохх из нашего, бих-хаканского мххамохха. Миля им очень гоххдился. Он сам участвовал в ххазххаботке каххьехха. Он говоххыл, што никакие дххугие каххьеххы его не ин-теххьесуют. Он во всем хотел участвовать сам, как же без нього...

В ее старческом откашливающемся голосе прозвучала нежность и гордость влюбленной девочки.

Какой она и была, когда лет семьдесят назад вослед своему кумиру в фуражке с пятиконечной звездочкой, уже успевшему перекрестить в прогрессивный клуб реакционную местечковую синагогу, она устремилась возводить новый Сион вместо Ближнего на Дальнем Востоке.

Ползли через всю страну больше месяца. Бенци как опытный путешественник в товарном вагоне сразу представил солому, парашу... Но нет, наверно, своих первопроходцев советская власть устроила как-нибудь попроще. Однако про парашу и не спросишь: мало кто чувствует, что низкое лишь возвышает цену высокому.

Комсомольцы-добровольцы выгрузились на станции Тихонькая: неслиянные притоки Амура Бира и Биджан еще не успели слиться в новую еврейскую столицу Биро-Биджан. Дождь к тому времени уже лил и намеревался лить в будущем никак не меньше сорока дней и сорока ночей: земля под ногами колыхалась как самая настоящая трясина, намокшие и протекающие палатки на привокзальном поле подплывали пузырящимся болотом. Маловеры сплоченной плотвой набились в вокзальчик, еще не возвысившийся до своей столичной миссии, а Мейлех, бичуемый ледяными струями, в сопровождении своей верной Доры отправился месить грязь в поисках положенного сельхозинвентаря, который романтик Нью-Сиона прежде видел только издали – все эти плуги и бороны, включая лошадей и разнокалиберную скотину. Ничего, не сахарные, не растаем, повторял он, и к вечеру все раздобыл.

Дорога, ведущая к будущему колхозу-миллионеру Сталинфельд, со времени расказачивания местного населения совершенно заколодела и замуравела, а частью и вовсе ушла в болото. Мосты частично сгнили, частично сгорели, местами приходилось вязать плоты или, держась за переброшенные канаты, все перетаскивать на себе. Вздувшиеся речки превращались в неодолимые потоки, порой опрокидывавшие даже лошадей – и без того не пылавших энтузиазмом, норотивших разбежаться на каждом привале. Один из таких потоков оторвал от своего звена и потащил прочь присоединившегося к отряду аргентинского коммуниста Хаима Борхеса. Его тело удалось выловить лишь двумя километрами ниже по течению – одной окоченевшей рукой он держался за корягу, в другой сжимал партийный билет.

Кажется, небо спустило с цепи все казни египетские – и неправдоподобный гнус, не оставляющий на теле ни одного живого места, и нашествие жаб, а в довершение всего наводнение размыло скотомогильники, и сибирская язва начала косить как скотов, так и человек. Павших лошадей, коров, овец приходилось оттаскивать подальше и закапывать в болотную жижу, заливая воображаемой известью. С людьми обходились не намного почтительнее. Неизвестно, сколько отчаявшегося люда попыталось бы спастись бегством, если бы обратная дорога не казалась еще более опасной, чем лагерь, в котором все-таки уже наладили какой-то кров и стол. Хотя среди еврейских ремесленников почти не было плотников и совсем не было крестьян (кое-кто из вчерашних портных и парикмахеров даже не знал, что такое е хо мут), все-таки кое-что удалось и построить, и вспахать, и засеять – не веря, что удастся еще и что-нибудь собрать, но лишь отодвигая неизбежный конец.

Один только Мейлех Терлецкий ни на миг не предавался унынию, колдовским образом во зникая в трудную минуту в нужном месте с багром, с топором, с шуткой, с песней...

– Вы увидите, вам еще будут завидовать, пххо вас еще будут складывать легенды, совьеххшенно сеххьезно твеххдбил Миля маловеххам... И ви знаете, на

некоторых это действовало!.. – качала растрепанной седой головой Дора Соломоновна, переливаясь своим траурным «адидасом». – Пххавда, Миля в последние годы повтохьял, што легче осушить тысячью болот и засеять сто тысяч гектаххов, чем создать одну легенду... Но он уже пеххой зимой начал пьисать – пххи кеххосьиновой лампе, стьены искххились от инея, хихахка качалась от вьетхха, а он писал стихи! Как Маяковский! Чьеххез чьетыххе года здьесь будьет гохход-сад! Ми и нье пххьедставльляли, што могут быть такие вьетххы, такие моххозы, а он писал, што здьесь когда-ньюбудь – ещье пххи нашей жьизни! – будут бьить фонтаны...

Дора Соломоновна качала своей седой разбухшей головой как бы сокрушенно, но в ее пропитанном кашлем голосе звучала скорее ностальгия, и Бенци более чем понимал ее: если уж ему самому манеж виделся со слезами счастья...

– А когда его пеххьеххосьили в Биххобиджан, его сххазу же отмьетил сам Давьид Беххгельсон!

Она произнесла это имя с таким благоговением, словно Давид Бергельсон был не менее чем Шекспир. А следовательно, он и был Шекспиром внутри какой-то сказки. Бенци приходилось более по душе создание даже глупых новых сказок, нежели утилизация старых – когда Моцарт становится сигналом мобильного телефона, Бетховен – псом, а Сикстинская Мадонна – рекламой прокладок.

– Давьид Ххафаиловьич одному только Миле по-даххьил свою кньигу. – Никаким старческим дребезжаниям было не скрыть этой поистине материнской гордости.

С тяжким усилием поднявшись с продавленного зеленого дивана, она в три переваливающих шага добралась до главного алтаря – канцелярского письменного стола и взяла в руки одну из разложенных по треснувшему «пластигласу» брошюрок, то сизых, как билотрайская зола, то желтых, как прессованные опилки. Доковыляв обратно, она протянула ветхую тетрадочку Бенциону Шамиру, сидевшему на том же диване, опустившись едва ли не до самого пола, покрытого облупленным линолеумом в крупную сизую клетку. Под четкой типографской надписью «Библиотечка „Огонька“» разбегалась нечеткая дарственная надпись: «Собрату по перу с пожеланием тверже держать свой рабочий инструмент».

Бенци начал осторожно переворачивать рассыпающиеся страницы – ему было и в самом деле любопытно: он давно слышал о Давиде Бергельсоне, но ничего не читал.

– Почьитайте, почьитайте, – любезно закивала Дора Соломоновна своей седой с недорастворившейся чернью кудлатой головой и деликатно запереваливалась в крошечную кухню (вся прочая музейная «площадь» состояла из небольшой гостиной и маленькой спальни).

Погрузиться в мир рассказчика обстановка все-таки не позволяла, да и текст не околдовывал с первых же фраз, однако Бенцион Шамир сразу же сумел оценить, что перед ним так называемый крепкий реализм начала тридцатых. Деловой еврей Воля Бренер ранним утром прибывает в Москву, с хозяйским благодушием воспринимая давку и иступленный гомон вагонных кур и уток. Воля счастливый обладатель странной профессии «бракер» и опрятной седеющей бородки. Бородка Воли совсем по-ленински сочеталась с обычной советской кепкой – сочетание, ни разу не встретившееся Бенци за все его давние годы в Советском Союзе; более того, у него сложилось полное впечатление, что подобная бородка могла стоять жизни ее обладателю, если только он не Ленин и не Держинский.

Хозяин Москвы приходит в квартиру, где наслаждаются сном среди тазов, кувшинов и роскошных вычесанных прядей три его красавицы-дочери. Он любит на них, как хозяйка на хорошо взошедшее тесто. Одна нечаянно раскрывается, обнажив полное дремотной истомы тонкое пылающее тело, – отец, отвернувшись, накрывает ее, вспомнив попутно праотца Ноя. А затем с наслаждением укладывается сам: вот это называется радостью жизни, ойлем хазе!

Он сам удивлен, как это ему никогда не скучно, особенно в последние годы.

Раньше, для того чтобы убить время, надо было заглядывать в сойфер – в священную книгу. Теперь же со времени революции и советской власти – вся жизнь кругом так интересна, что вполне достаточно читать газету, а часто даже и без нее обойдешься. Присматриваешься к тому, что творится в стране и во всем мире, и это одно заставляет тебя думать.

– Потому что из-за революции и из-за советской власти, – Воля Бренер хочет себя самого пощекотать, – мы со всем миром стали за панибрата. Пхе! Когда во всем мире у нас есть близкие друзья: в Китае, в Никарагуа.

– Ты, умник, знал ли ты когда-нибудь до революции, что у тебя есть где-то милый родственник, которого зовут Никарагуа? Ни-ка-ра-гу-а... Какое словцо?.. Ты мог его раньше выговорить?..

Он вспоминает беседу в поезде с двумя старыми знакомыми.

– Раби Бренер, – сказали они, указав на все окружающее, – скажите правду: вы действительно верите «во все это» или вы только так себе?..

– Пардон, – ответил он им. – Во-первых, я не раби Бренер, а гражданин Бренер. А во-вторых, вы – безмозглые! Почему бы мне не верить? Кем я был до советской власти? Служащий у капиталиста в лесу. А сейчас я, слава богу, участник, компаньон всей советской власти, акционер, значит. И разве только советской власти! Почему бы и не Коминтерна? У-ваа! Вы шутите, что это за предприятие?.. И что за предприятие это еще будет!.. Подождите, оно еще только начало расти. Вы копеечники, вот вы кто! Вам главное – щелкать на счетах. Мелкие кулаки! Вы даже представления не имеете, что такое настоящее предприятие, а я знаю одно: у меня есть акции, у моих детей – тоже. А что же? Поверьте мне: ничто не пропадет... Будет прибыль, будет...

– Э! – прервали его, Бренера. – Мы вас серьезно спрашиваем, а вы шутками отделяетесь.

– Ослы, – ответил он им, – вам это шутки, а для меня это серьезно. Чем я виноват, что у вас узкие лбы? Клянусь, вы даже не понимаете, в чем суть. С вами надо с азов начинать, но у меня для этого времени нет – я только бракер, по лесу, вот кто я!

Воле Бренеру часто приходится заводить беседы в вагоне. Сегодня ночью в переполненном вагоне почтового поезда ему пришлось вести разговор. Было темно, как перед праздником, сидели друг на друге, соснуть хотелось до смерти, но напротив, на скамейке, вдруг заговорил незнакомый иностранец; он, видимо, возвращался с осмотра подмосковных заводов – важный спец как будто, – хотя лицом он казался немножечко своим, чуть-чуть знакомым. Выяснилось – он немецкий еврей, действительно большой спец, инженер и к тому же набожный... древнееврейское слово неплохо понимал.

– В Германии, – сказал он, – есть много таких, как я, – окончили университет и по пятницам сами святят свечи.

– А здесь в «Зовет-Унион», – сказал он с тоской по своему укладу, – здесь в «Зовет-Унион» я бы не остался.

– Варум? – обращается к нему Бренер.

– Варум? – говорит он. – Ваш шахтинский процесс... Страна с такими высокими идеалами, а все еще расстреливает людей...

На это он, Воля Бренер, ему тут же ответил:

– Вы еще сами святите свечи и еще понимаете язык предков – так выслушайте меня: был у нас некогда великий ученый, а именно: Симеон бен Сатах его звали. И этот Симеон бен Сатах: толо – повесил, мем – сорок, ношим – женщин, беашкелойн – в Ашкелойне. На это в Талмуде есть вопрос: «Ведь мы учили – только мужчина подлежит повешению, но не женщина?» Отвечает Талмуд: «В смутное время ты можешь повесить даже женщину». А у нас, понимаете, сейчас время смутное. Вы понимаете меня – весь капиталистический мир хочет нас задушить, а во-вторых, скажу я вам, вот я тоже спец – по лесному делу – и меня никто не расстреливает, и расстреливать не будет. Варум? Оттого что я не делаю того, что сделали те... Вот так, как вы меня видите...

Сейчас, засыпая и вспоминая, как немецкий спец после такого ответа остался с умным носом и с глупым лицом, ему становится жалко, почему он тому немцу не выпалил еще одну цитату, из Библии. Там же черным по белому сказано, что без этого, т. е. без смертной казни, не мог ничего построить даже Моисей.

– Ай-ай-ай, – делает Бренер гримасу и с чувством большого сожаления почесывает бороду, – жалко, жалко!.. Как это я не двинул этому немцу еще вот эту вот цитату!.. Ай, ай, ай!.. Жалко, жалко!..

М-да... Вот уж действительно жалко, что кровавую большевистскую сказку не удалось подкрепить кровавой сказкой библейской...

– Выпейте чайку.

Дора Соломоновна, со свистом вдыхая и особенно выдыхая, доковыляла до заморского гостя с надбитой голубой чашкой без ручки, расплескивая спитой чай. Бенци из вежливости принял и даже сделал осторожный глоток. Осторожность оказалась излишней – «чай» был едва теплым.

– Пххочитали? Миля до последних своих дней очень высоко ценил Беххгельсона, – со значением сообщила она. – Миля очень ххадовался, што ещье успел пххочьитать матеххьялы по его пххоцессу.

Доковыляв до стола, служительница памяти Мейлеха Терлецкого на этот раз вернулась со зловещим черным томом.

«ПОСЛЕДНИЙ СТАЛИНСКИЙ РАССТРЕЛ», – прочел Бенци. И пониже, более мелкими буквами: «Стенограмма судебного процесса над членами Еврейского антифашистского комитета».

Бенци хотелось почтительно заглянуть под надгробную обложку, но мешала чашка. Дора Соломоновна с неожиданной для служительницы божества чуткостью освободила его от своего обременительного подношения. Но зато тут же начала зачитывать вслух случайно раскрывшуюся страницу. Бенци отметил, что ему пришлось достать очки, а она все видела и так.

Или помнила наизусть?

– Фехехх: я должен сказать, што в наследии льюбого наххода много мудххости. И я нье сччитаю, што нужно отказываться от Соломона.

– Миля удивлялся, что Фехехх, этот сексот, пьеххед лицом смьеххти возвысился до такой хххабххости... Миля был очень умный, он все поньимал!

Бенцион Шамир почтительно покивал, стараясь что-нибудь прочесть и сам.

Председательствующий: Вы все-таки пропагандируете идеи исключительно националистические, что больше всего пострадали евреи?

Фефер: Да, я считаю, что на долю еврейского народа исключительные страдания достались.

Председательствующий: Разве только один еврейский народ пострадал в Отечественной войне?

Фефер: Да, вы не найдете такого народа, который столько выстрадал бы, как еврейский народ. Уничтожено шесть миллионов евреев из восемнадцати миллионов – одна треть. Это большие жертвы, и мы имели право на слезу и боролись против фашизма.

Председательствующий: Это было использовано не для слезы, а для антисоветской деятельности. Комитет стал центром националистической борьбы.

Словно гадая на «Последнем сталинском расстреле», Бенцион Шамир закрыл черный том и раскрыл его в другом месте.

Маркиш: когда выходит книга Шолом-Алейхема на русском языке, она имеет тираж сотни тысяч и в состоянии накормить людей. А когда она выходит на еврейском языке, она не находит себе такого распространения, потому что наши евреи приобщены к русской культуре. Они хотят большой культуры, у них нет национального пафоса. Они по-еврейски не разговаривают – что они будут делать в Биробиджане? Их дети даже через десять лет не будут разговаривать по-еврейски.

– Ви почитайте пххо Беххгельсона, – не позволила ему блуждать самостоятельно Дора Соломоновна и, поставив чашку на линолеум, открыла черный том на самом зачитанном месте.

Бергельсон: Меня воспитывали в строго националистическом духе. Другого духа вокруг себя я до семнадцати лет не видел. В моем детстве не было ни одной русской книжки.

Мне было одиннадцать или двенадцать лет, когда я научился кое-как по слогам читать по-русски от заглавных листов Талмуда, потому что там названия каждой книги, как это требовалось по закону, повторялись теми же самыми ассонансами слов по-русски. Почти большинство евреев, в том числе ремесленники, изучали Талмуд. Кто меньше знал, кто больше. Я помню шорника, который всегда в субботу, когда в синагогу собирались евреи, разбирает им довольно замысловатые вещи. Те, которые не знали, не могли разбираться сами, собирались в синагогу, и между двумя молитвами – предвечерней и вечерней – он читал Талмуд и объяснял, в чем дело.

В августе выпадает день, когда сгорел храм Соломона. В этот день сутки постятся все евреи, даже дети. На целый день уходят на кладбище, там «вместе с мертвыми» молятся, и я до того был насыщен атмосферой сгорания этого храма, так много говорили об этом, что, когда мне было шесть-семь лет, мне казалось, что я слышал запах этого угара-пожара. Я это говорю, чтобы показать, насколько врезался этот национализм.

– Ви смотххите, в чьем он ххаскаивается, – не давала Бенци вчувствоваться Дора Соломоновна. – В том, что пххынимал слышком бльзико к съеххдцу тххагьедию своего наххода! Это мне тоже Миля ххастолковал...

Бенци проникновенно кивал, но сам он не мог принять трагедию Бергельсона близко к сердцу, пока ему мешали сосредоточиться: воображение, то есть душа, было отключено, хотя глаза и улавливали смысл.

Бергельсон: Нас очень волновало закрытие еврейских школ. Это было открытое признание, что мы будем лишними. Во-вторых, мы считали, что это распоряжение не ЦК ВКП(б).

А с другой стороны, мы знали, что в еврейских школах уменьшается количество учеников, но для меня лично это был вопрос еврейской культуры вообще. Я видел, что сами родители не отдают детей в еврейские школы. Меня интересовала дальнейшая судьба еврейской культуры. Калинин считал, что еврейская культура может развиваться в Биробиджане, я это читал в его брошюре и слышал из уст Калинина. Для меня стало ясно, что нужно дотянуть эту литературу до тех пор, пока будет она развита в Биробиджане.

Председательствующий: Вопрос ассимиляции вас беспокоил?

Бергельсон: Я в ассимиляцию не то что не верил, а я считал, что это очень длительный процесс, а это значит – длительная агония, и она может быть страшнее смерти.

Председательствующий: Вы и сейчас ассимиляцию еврейского народа среди советского народа называете агонией?

– Ви чьитайте то, што Миля отчьеххкнул, – не выпускала его на волю Дора Соломоновна. – Он умьел отделять главное от втоххостепенного! Почитайте, вот: допххос поэта Квитко. Я пххьизнаю себя вьи-новным в том, што, будучьи ххуководителем евххэйской съекции союза советских писательей, я нье ставьил вопххос о закххытии этой съекции.

– Спасибо, спасибо, позвольте я сам.

– Хоххошо, хоххошо...

Квитко: Продолжая писать по-еврейски, мы невольно стали тормозом для процесса ассимиляции. Пользоваться языком, который массы оставили, который отжил свой век, который обособляет нас не только от всей большой жизни Советского Союза, но и от основной массы евреев, которые уже ассимилировались, пользоваться таким языком, по моему, – своеобразное проявление национализма.

– Понятно, – с еще большей предупредительностью покивал Бенцион Шамир. – Писать на родном языке – это проявление национализма.

– Вот-вот, ви ухватили самую суть, как это называл Миля. Я вижу, ви тоже умный человек. Ведь што получается: Евххэйский антифашистский комитет создали длья того, чтобы сыгххать на национальных чувствах амьеххиканских евххэев, мол, все евххэй бххатъя. А потом за это самое людьеф ххасстххельяли... Ми с Милей еще льегко отдьелались: он получил десять льет, а я восемь.

– А... А в чем формально вас обвиняли?

– Милю тоже обвинили в том самом, чего сами же от нього и тххьобовали. Тххьобовали, штобы он во сьпевал нашу но вую хходьину, а по т м стали о биньять, почьему он воспьевал имьенно ее, а не вьесь Советский Союз. У Мили были генияльные стихи: ми хходину стххоим у кххая стхханы, гдье слыщитесь ххокот амуххской волны... У меня и сейчас гоххло пеххьехватывает от этьих слов, а сльедовательель по-дыскывался: так значит Советский Союз – это не хходина? Какую еще хходину ви стххоите? Длья кого? Почьему ви пьщете: я нигдье не вьидел такого ослепьительного солнца, я нигдье не вьидел такых ослепьительных улыбок? Што, в дххугьих ххьеспубликах солнце хуже, ххусские или укххаинские улыбки хуже жидовских? Миля пытался ему ххастолковать, што этого тххьобуют законы поэзии: все, што поэт воспьевает, он должен изобххажать как что-то особьенного. Ви же нье можьете объясньаться в льюбви к женьщине и говохжить, что она такая же, как все. Хотя на самом дьеле это так и есть. Ви же нье можьете сказать: у тебья удивьительные глаза, хотя у тысьяч дьевущек они ничьють не хуже, у тебья волшебный голос, хотя и не лучше пххочьих... О, Миля умьел отхльестать и тупьиц, и пххиспособьенцев! Когда наш завьедующий нахходным обххазованием Дххисин хотьел закххыть евххэйскую школу, Миля пххьямо на паххтийном собххании назвал его человеком с говоххьящей фамьилией! И даже самые отпьеые антисемьиты смеялись!

– Да, очень остроумно. А вы сами как – стихов не писали?

– Ну што ви, я о таком и подумать не смьела! Мейлех Теххлецкий поэт – и я поэт!.. Смьех! Пххавда, сльедовательель от меня все ххавно тххьобовал, што-бы я пххьизналась, што Миля вовльек меня в националистьическую оххганьизацию.

– И вас... – Бенци хотел спросить: били, но это показалось ему неделикатным по отношению к женьщине, и он спросил: – Вас подвергали пыткам?

– Ньет, в сххавньении с тххьидцать сьедьмым годом те, кто пххобовали, говоххьят, што это был кух-хохт. Ххьбьята из-за гхханьицы побывали и в сигухханце, и в польской оххханке, и даже в гьестапо, и все в одьин голос пххизнавали, што наше энкавэдэ тоже было самое пеххьедовое. Но меня не были. Матеххьили, оскоххбьяли, угххожали – это да. А потом сльедовательель пххьиколол на стьенку льист бумаги: я, такая-то, такая-то, пххьизнаю, што Теххлецкий Мейлех Сххульевич вовльек меня в националистьическую оххганьизацию, – поставил меня льицом к этой бумаге и ушел. Сказал только: когда вспомнишь, позовьещь. А до этого стой. И я стояла. А когда пыталась сьесть, конвоихх был меня по ногам табуххьеткой. Но самое тххудное – ви меня извиньите – когда в убоххную хочьется. Миля мне чьеххез много льет пххьизнался, што у нього уже тогда был пххостатьит, ему тххьобовалось опххавльяться каждые полчаса, а ему пххьищлось пххостоять больше двух суток. Мнье, пххавда, тоже, но мнье-то не нужно было так часто опххавльяться. У меня только ноги опухли, выдавливались из дьыххочьек на баххетках, как тесто, щнуххки вьедь отобххали... А у Мили конвоихх попался добххый паххьень, буххьят или нанаец. Он ххазххьешил Миле подвьесить в бххьюках бутылку, и Миля в нее опххавльялся. Ви меня извиньите за такие подххобности...

– Ну что вы, уж мне-то известно, какой пыткой становится любая физиология...

– Вот-вот. Но Милю они не сломьили. Он и в лагеххье пхходолжал счьитать, что ассимильятоххская польитика пххотивоххьечит маххксизму-лениньизму.

– К сожалению, это не совсем так... И Маркс, и Ленин были сторонниками ассимиляции еврейского народа.

– Ну, сейчас-то на них все можно вальнуть, тепьеххь мода такая пошла...

– Уверяю вас, все это я читал в их сочинениях задолго до наступления этой моды.

– Миля тоже постоянно пеххьечитывал Льенина. Но к Сталину отношение он пеххьесмотххьел еще в лагеххе. Он даже не побоялся записывать свои ххазмышльения, он был настоящим геххой!

Поистине героическим усилием Дора Соломоновна с третьей попытки поднялась с дивана и, переваливаясь и переливаясь сильнее прежнего, торжественно донесла до Бенциона Шамира совсем уж засаленный и затертый миниатюрный блокнотик с загибающимися уголками. С огромным трудом Бенци удалось разобрать полустершиеся карандашные каракули:

«Обстановка, куда я попал, открыла мне много нового. Раньше я жил односторонне, смотря на мир через розовые очки. Теперь я понял, что духовно мы продвинулись совсем недалеко.

Хорошо, допустим, что Сталин был чист, его окружали ревизионисты, троцкисты и т. д. Но как он, политический деятель, не мог узреть с самого верха того, что было видно отовсюду?

Кто на горе, тот раньше солнце встретит, Кто среди друзей, тот силой не шути, Кто впереди шагает, тот в ответе За все ошибки на крутом пути.

Даже если считать, что он не возмнил из себя бога и не боялся за кончину своего всевластия, он все равно виноват, потому что стоял у горнила власти. Но я добавлю другое. Ни один человек за время существования власти не сделал столько зла и никто не сделает столько, сколько сделал этот „вождь“! Нам сейчас и еще в далеком будущем придется расхлебывать эту черную кашу, так вот это наследство осталось в достаточном количестве в кругу, где обитаю я. Так кто же будет бороться за полное искоренение грязи?»

– Миля после контузии пеххьестал выидеть пххавым глазом, но он не впадал ньи в пххавый, ни в льевый уклон. Это он так щутьил, его сломить было ньевозможно! Ему даже нххавьилось, што он отбывал сххок в Биххакане – вьедь дххугые каххьеххы его нье интьеххьесовали... Он бы мог пххобить себе и инвалидность, но он никогда нье хотел длья себя какой-то отдьельной судьбы. Пххавда, он быстххо выххос до бххьигадьихха, он же был пххьиххождьенный оххганьизатохх, «втоххой Каганович» его называли в Сталинфельде. Только он нье хотел пххобиваться в наххкомы, он уже тогда повтоххьял, што все подвьиги забываются, нье забываются только легьенды о подвьигах. Поэтому он ньикогда нье тьеххьял оптимьизма, он говоххьял, што главная боххьба ведьется нье за тьеххитоххии и даже нье за пххоизводительность тххуда, а за дущи льюдьей. И в этой боххьбе побьедит тот, чья легьенда окажеться кххасьивее. А потому, пххоигххав пххьи жизни, ми можем победить после смьеххти. Если оставим о себе кххасьивую легьенду. Поэтому он никогда нье чувствовал себя пххоигххавшим. Вот, посмотххьте, какие откххытки он пххьисыал из лагеххя.

За каждой новой реликвией Дора Соломоновна отправлялась в новый героический поход, на этот раз сумевши, правда, подняться с дивана уже не с третьей, но лишь с пятой попытки, – категорически отвергая все предложения о помощи.

Биробиджанский памятник Ленину на парадной стороне открытки безнадежно вылинял, чернила на обороте позеленели, только кремлевская звездочка на почтовой марке продолжала светиться жизнерадостной капелькой нитроглицерина – и Бенци вдруг осознал, что дышится ему почти свободно: прикосновение к высокой драме продолжало оказывать свое целительное воздействие.

Однако прочесть стихотворное послание на открытке самостоятельно Дора Соломоновна ему не позволила; многократно закашливаясь, она все-таки довела торжество до конца.

Любимые, хходные дьети! Бьез лыщных и ньенужных сло в Я в ващем пххазднннчном пххывьете Услышал сьеххдца чьистый зов. Ньедолго будьем ми ххазлукой И дьень, и ночь томьить себя. Тому нам вьеххною поххукой Вьид свьетозаххного Кххемля.

Проникновенно выдержав ее юный торжествующий взгляд, Бенцион Шамир после приличествующей паузы задал почтительный вопрос:

– А с кем оставались ваши дети, когда вы оба были в лагере? – От него уже требовалось серьезное усилие, чтобы нечаянно не произнести «дьети», «в лагьеххе»...

– Какие наши дьети? У нас нье было дьетьей.

– А к каким же детям обращено его стихотворение?..

– К его, к Милиным дьетьям. А, я вас поняла!.. Ньет, я в то вххьема ещье нье была его женой. Он был женат на этой... даже нье хочу вспомьинать, на этой мешаночке. Она была из этьих, из пххымазавшихся. Но мужьчины такие довьеххчивые... А когда началась пьеххьестххойка, она тут же сбьезжала в Изххаиль, и дочеххьей с собой забххала. И внуков. Миля остался совьеххщенно одьин. Но его и это не сломьило, он говоххьил, щто война нье пххоигххана, пока хоть одьин солдат остается на своем посту. Он хотьел быть этьим солдатом, и я снова была ххьядом с ньим. Как в пьеххвые годы. Он говоххьил, щто в войнье за дуци одна кххасьивая смьеххть может пеххевьесить тысьячи пушек и милиёны банок туценки. В посльедние мьесяцы он все вххьемья обдумывал, как бы ему кххасьиво умьеххьеть, может быть, бххоситься с телевиззионной выщки, завьеххнувшись в каххту Биххобиджана?.. Но он поньимал, щто это будьет смьешчно, он же был умньица!.. И он так и умьехх на это м самом дьиване. Когда я замьечала, щто у ньего начинают остывать ногьи, я начьинала их ххастьиххать, сьидьела всюю ночь и ххастьиххала – «скоххая помощь» уже не хотьела пххьиезжать, оньи мнье пххьямо говоххьили: отпустьите его, пеххьестаньте его мучить... Ньет-ньет, нье вставайте, Миля не хотьел, щтобы его вьещи пххьевххащались в ххьеликвии, вьещи должньи служьить дххьугим льюдьям, а памьяти человьека должньи служьить легьенды о ньем...

– Значит, вы поженились уже после отьезда его семьи? – осторожно спросил Бенци, не зная, чем еще высказать свое благоговение.

– Да, чеххьез тххьи года послье их дезьеххтьиххства. Я нье буду скххывать: я мьечтала об этом всюю свою жьизнь. И в конце концов дожьдалась. И оказалось, щто я нье зххья ххханьила длья ньего свою дьевствьенность.

Ее набрякшее лиловое лицо приобрело дополнительный пурпурный оттенок, однако она продолжала смотреть на Шамира с явным вызовом. Ощущая страх, что с нею вот-вот приключится удар, Бенци потупил взгляд еще более благоговейно.

– Вам там на Западе это, навьеххно, смьешчно – семьидьесятьпятьильетняя ньевьеста ххханьит ньевьинность длья осьмьидьесятьильетньего женьиха... Но я вас увьеххьяю, щто в конце концов он оцьеньил мьеня нье только как дххуга, но и как жьенщину. И если бы нье его аденома, у нас был бы настоящий бххак, в полном смьслье этого слова. У мьеня на гххудьи с дьетства остались шххамы. Пьетлюхховцы обльили моего папу кьеххосином и подожгльи, а я – я была кххоха, дошкольньица, – я бххосьилась и своим тьелом загасьила. Так Миля очьень любил гладьить и цело вть эти пьятна, я вас кльянусь, если ви не вьеххьите... Поэтомую я нье счьитаю свою жьенскую жьизнь потьеххьянной, в конце концов я все получила на двьестьи пххоцьентов. Одьин дьень ххьядом с Милей вьесьит больще года с какьим-ньибудь... С какьим-ньи-будь пххиспособльенцем. Щто, нье вьеххьите?

Бенци было не до того, чтобы чему-то не верить, – все его душевные силы были сосредоточены на одном усилии – не выдать чем-нибудь свою ошеломленность. И не пропустить в свое воображение колыхающуюся под траурным «адидасом» пятнистую грудь своей собеседницы. Поэтому он продолжал выполнять то наипростейшее действие, которое как будто бы неплохо ему удавалось: он кивал и кивал со всей благоговейной проникновенностью, которая была ему доступна. А когда прием начал оскудевать, он

ускользнул от испытующих детских глаз к письменному столу и принялся благоговейно рассматривать треснувший «пластиглас».

Под стеклом светилась счастьем и ожиданием с музейного вида линиялой фотографии какая-то по-детдомовски стриженная еврейская девочка.

– Это я. Нье узнаете? – растроганно спросила с десятой попытки настигнувшая его и здесь Дора Соломоновна.

– А... Да, не сразу узнал, – честно признался Бенци и поспешил сказать что-нибудь приятное: – Понимаю, почему ваш супруг всегда хотел видеть ваше лицо во время работы.

– Ви думаете, это он хотьел? Мужчины вьедь такие ххасеянные. Твоххчьеские мужчины. Я сама ее сюда по лю жила. По сье его смьеххти. А то бы о н так и нье догадался, он же вьитал в облаках...

Только тут до Бенци дошло, что в музее-квартире Мейлеха Терлецкого нет ни единого следа его прежней семьи. На стене висела лишь одна большая фотография – явно современная, цветная: Мейлех Срульевич и Дора Соломоновна в день «бххакосочетания», больше похожего на золотую свадьбу. Этакие умиротворенные старосоветские дачники, дружная парочка – Абрам да Сарочка...

* * *

– Похха обедать. – Дора Соломоновна внезапно превратилась в радушную хозяйку. Бенци отказаться не посмел.

* * *

Кухонька умирала – обои свисали целыми лоскутами. – На табуххьет нье садьитесь, – хлопотала заботливая хозяйка, – а то может ххадикультит ххазыгххаться, Миля нье мог сидьеть бьез спьинки... ой, ньет, стул от стьенки нье надо отодвигать, у нього ножки нье хватает... ньет-ньет, нье бойтесь, если его нье тххогать, он пххочно стоит.

К столу, покрытому превратившейся в тряпицу на всех четырех углах клетчатой клеенкой, притрагиваться без серьезной причины тоже не стоило, это же можно было сказать и о тарелках: и на столе, и в подвесной сушилке из почерневшей алюминиевой проволоки все как одна они были надтреснуты и надколоты, причем и среди тарелок, и среди чашек, казалось, не было двух одинаковых. Последние сблизало между собой только то, что все они были с отбитыми ручками.

Суп был жидок (жидук, шутил когда-то Шимон, осваивая язык и юмор хозяев жизни) неправдоподобно – как будто вымыли кастрюлю и ополоски разлили по тарелкам. Ерцевская баланда – и та, пожалуй, была погуще. Только там огрызки «хряпы» хрустели на зубах, а здесь расплзались после тридцатого кипячения. Бенци осторожно поинтересовался, какова пенсия у хранительницы музея-квартиры, затем, по привычке всех иностранцев, перевел в доллары – и слегка обомлел. Хотя привычен был, казалось, ко всякому. Не привык он, пожалуй, только к тому, чтобы к хранительнице памяти еврейского певца родной дальневосточной земли применять африканские стандарты.

Хранительница же, явно не замечая, что за субстанцию она бережно подносит в поблескивающей нержавеющей ложке ко рту с поблескивающими нержавеющей зубами, через свистящую одышку продолжала твердить об одном – о той единственно сказке, которая еще волновала ее в этом мире: Миля, Миля, Миля, Миля – так и текли Миля за Милей...

– Ви нье пххедставляете – таких ххыщаххьей больще не осталось! В соххок, кажьется, восьмом году – или девьятом, уже начались аххьесты евххэев, Милю послали от «Биххобиджанехх штеххн» сопхховождать Стаххостьина, начьяльньика Биххобиджанского отдьела эмгэбэ. Стаххостьин по доххоге напьился и вообще пеххьестал стьесньяться. Хотя он и до этого нье очьень-то стесньялся, но все-таки... Они подъехали к колхозу имени Кагановьича, к моххковному полю, жьенщины там пололи моххков. Стаххостьин выльез из газьика и закххьичал: а ну, стантье, как стояли, я посмотххью, у кого, пххостьите за такие подххобности, задньица толще, с той я сьегодья буду спать. Эй, ты, кххьичьит вдовье фххонтовьика, сьегодья я к тебье ночьевать

пххийду. Она начинает плакать: нье позоххьте мьеня, имьейтье совесть, а он ей: заткнись, а то у мьеня на твоего сына кое-что имьеется, на твоего Абххамчика! Ты што, думаешь, я на твою задницу пххьиехал любоваться – да у мьеня таких ххаком до Москвы не пеххьоставить, я за евххэями пххьиехал! Так Миля взял и его одеххнул: ви нье султан, и ви нье в гаххем пххьиехальи! Вас паххтия нье для этого поставила на ващ ответственный пост! Миле потом и это пххьипомнилъи: дьискххедьитация оххганов... Какких оххганов, спххацивал Миля, половых оххганов Стаххостьина? Пххостьите за такие подххобности...

Подробности были изумительны – все они гениально оттеняли истинно великую любовь – не любовь юных красавчиков Ромео и Джульетты, а любовь изломанных жизнью стариков Мейлеха и Доры.

Бенци ощущал такой подъем духа, что ему и дышалось с давно забытой легкостью: он становился участником красивой трагической сказки, которая рождалась в нем. Как она будет называться? «Красивая смерть»? История поэта, попытавшегося ценой жизни создать красивую легенду? Или «Еврейский Сирано» – история преданной любви к родине, не нуждавшаяся ни в единой крупице обладания? Или попросту – «Мейлех и Дора»: он живет безответной любовью к воображаемой родине, она живет безответной любовью к воображаемому возлюбленному? Только бы нечаянно не выпятить ту пошлую мысль, будто они прожили мнимостями, а кто-то другой, более мудрый, живет реальностью, как она есть, – мысль должна быть та, что живут сказками все, но одним везет, и их сказки находят всеобщее признание, а другие ломаются и присоединяются к сказкам влиятельным и...

Додумывать времени не было, но Бенци чувствовал, что образ рождается масштабный, а если повезет, то и волнующий. И в чем он был твердо уверен – он не умрет, потому что не имеет права умереть, пока не отпустит этот образ блуждать в системе грез, именуемой если уж не мировой, то, по крайней мере, еврейской культурой.

* * *

Бенци довольно легко удалось всучить Доре Соломоновне ее двухгодовую пенсию «на развитие музея». Сначала она, конечно, запротестовала: Миле не нужна мьилостыня, – но Бенцион Шамир торжественно возразил, что это не мьилостыня, а спонсорский взнос. Людям важнее всего не поступки, а сказочный контекст, в который они погружены, красивые слова, которые на этот контекст намекают, – слово же «спонсор», несмотря на его явное созвучие со словом «понос», в сегодняшней России считалось красивым.

* * *

Наконец наступил миг главного священнодействия – чтения «избхханных пххоизведьений» великого писателя. Дора Соломоновна была настолько торжественна, что Бенци даже не решился открыто посетить туалет – лишь дал понять, что перед торжественным актом хочет еще раз вымыть руки: он уже знал, что санузел в музее совмещенный. Он и воду не решился спустить открыто, но лишь осторожно потянул за медную проволоку, уходящую в открытую воду.

Унитаз, однако, несмотря на сеточку трещин, содержался в чистоте, престарелая Джульетта, должно быть, придавала этому какое-то символическое значение, то есть считала деталью какой-то сказки.

И наконец-то, усевшись на продавленный зеленый диван – последнее прибежище певца Амура и Биджана, – Бенци мог чистыми руками благоговейно раскрыть мятое «Избранное» Мейлеха Терлецкого, выпущенное в свет в Хабаровске после его реабилитации.

Повесть называлась «Сыновья».

– Да-а... Вот, если бы сын мой, Сема, был жив... – говорила часто Лия Черновецкая своим соседям по дому. – Эх, будь у меня сын, как у людей... – безнадежно махнув рукой, добавляла она. – Так нет...

Лия Черновецкая, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, держалась прямо, ходила высоко подняв седую голову.

Она исхудала, но изборожденное морщинами лицо и запавший рот все еще сохраняли черты, говорящие о решительности характера. Продолговатые, некогда иссиня-черные глаза хотя поблекли, но и сейчас темнели под белоснежными бровями. И только в те минуты, когда она говорила о сыне, глаза ее вспыхивали; светилось в них неизбежное материнское горе. Знать бы только, что он жив, знать, что с ним, и она бы могла обрести покой на старости лет...

– Так нет, наказал меня Бог... – заканчивала она разговор о пропавшем сыне, и глаза ее гасли.

Чаще всего Черновецкая изливала душу перед Полей Берман, жившей на втором этаже. Во всем этом густонаселенном доме, глядевшем окнами на две ближние сопки по ту сторону Биры, только Поля не имела детей, и это сблизило ее с Черновецкой. Кроме того, обе они были из одного города на Украине, из Кировограда.

Пятнадцать лет тому назад, после внезапной смерти мужа-биндюжника, Черновецкая вместе с Полей Берман и ее мужем-столяром переехала в Биробиджан. За два года до этого он, ее Сема, уехал в эти края и с тех пор будто в воду канул.

Даниил Берман, долговязый худой человек, несколько лет тому назад перешел на инвалидность и сейчас работал в своей же артели ночным сторожем.

В своей просторной и безупречно чистой комнате на первом этаже Черновецкая могла по звукам, проникавшим через потолок, различать все, что происходит наверху в комнате Поли: вот она возвратилась, вот уходит в свою артель ее муж. Тогда Лия, прихватив какую-нибудь работу, поднималась на второй этаж.

В эти вечера Лия могла вдосталь поговорить о своем сыне, в тысячный раз припоминая его высокий рост, могучую, унаследованную от отца силу, мужественные черты лица.

– Но что мне теперь с того? – говорила она в заключение, собираясь уходить.

Однажды, уже стоя на пороге, Лия сказала:

– У тебя, Поля, никогда не было детей... У тебя никогда не болело так сердце. Но иметь одно-единственное дитя, такого сына, как мой Семен, и потерять его... Да что и говорить...

У Поли защемило в груди, и слезы навернулись у нее на глаза. Она незаметно смахнула их и долго еще не отпускала подругу домой.

– Что и говорить! – сказала Поля. – Но прошло уже столько лет... Тем более, такое время, такое страшное время... Война... А если бы тогда с вашим сыном ничего не случилось, кто знает, что было бы теперь... Вот у Ривы сын... Легче ей, что ли?

– У Ривы? – переспросила Лия.

Кто не знал сына Ривы Мандель? Тихий и смирный, слова, бывало, громко не скажет. Окончив школу, ушел в армию, а потом на фронт, был снайпером.

Но недавно родители получили письмо от командира части, в которой служил их сын. Младший лейтенант Григорий Мандель пал смертью храбрых...

– Разве Риве легче? – повторила Поля.

После длительного молчания Лия проговорила:

– Кто знает?..

И ушла. Прислушиваясь к ее шагам по лестнице, Поля подумала, что в конце концов, быть может, ей, Лие, труднее...

Дора Соломоновна в музейной кухоньке гремела посудой, и Бенци решил воровато порыться в книжке в поисках конца – много ли еще осталось? Оставалось довольно много. Заодно Бенци увидел дату написания: 1947 год. Понятно, примерно тогда в советской литературе мастерством и ответственностью перед народом и стала окончательно считаться ординарность, перечислительность, отсутствие хоть сколько-нибудь необщих слов и личной интонации.

Однако Бенци не позволил разочарованию овладеть собою, он был готов проявить великодушие и терпение, увидеть и услышать не только то, что автор говорит, но и то, что он хочет, только не умеет или не смеет сказать.

И все-таки буквы передавали одни лишь грубые события, то есть такие, которые только и представляются событиями грубому наблюдателю.

Лия родила единственного сына на восьмом году после свадьбы, так Сема и рос единственным ребенком-баловнем. Соседи жаловались, что он поколачивает их ребят, но мать лишь разводила руками – ваши дети старше, пусть сдачи дают. А отец, Азриэль Черновецкий, приземистый, широкоплечий силач, биндюжник, раздражался громовым хохотом: «Вот это по-моему! Молодец! Настоящий, не ледащий!»

В двенадцать лет Сема пытался бежать в какие-то неслыханные края, начитавшись про них у каких-то неведомых Фенимора Купера и Майн Рида, а после школы поступил в строительный техникум. Хотя почему бы ему было не выучиться на зубного врача?

В ответ на уговоры матери Семен сказал:

– Все специальности, мама, хороши. Но в каждую пору бывает так, что одна из них является главной. Сейчас – это специальность строителя.

Что она могла возразить?

К этому времени стало известно, что правительство отдает трудящимся евреям свободные земли в Приамурской полосе Дальневосточного края, включающие Биробиджанский район.

Лия поняла, что местность эта где-то страшно далеко, еще дальше Сибири, и слышать не хотела об отъезде. И особенно тогда, когда узнала, что одним из первых туда собирается Лемех Лемперт.

Это был приземистый, коротконогий человек с редкой, всегда аккуратно расчесанной седоватой бородкой. Трудно было смотреть ему в глаза – они все время беспокойно бегали. Одет Лемперт был всегда чистенько, в руках вертел тросточку.

Известно о нем было, в общем, очень мало. Знали, что он когда-то вел богатую жизнь в Одессе. Источники богатства Лемперта, судя по всему, были весьма сомнительного свойства, так как он скоро угодил в тюрьму. Потом приехал в Кировоград, открыл галантерейную лавку, но лавка, очевидно, служила ширмой для каких-то других дел. В результате он снова попал в тюрьму. А потом Лемперту стало уже не до лавки – время было не то.

Знали также, что Лемех Лемперт по приезде в Кировоград объявил себя вдовцом, бездетным. Женился на женщине гораздо моложе его, родилась девочка.

А спустя некоторое время, когда он уже был в тюрьме, в Кировоград приехала пожилая женщина с двумя мальчиками-подростками и заявила, что она – жена Лемперта из Одессы, что она его разыскивает бог знает сколько и наконец узнала, куда он девался...

И вот этот человек сейчас стал упорно говорить о своем намерении ехать на новые места.

– Ну конечно... Лемех Лемперт едет, и вы едете, – говорила Лия. – Но тот, по крайней мере, от двух своих жен удирает, а вы чего?

И вдруг ее сын, ее Семен объявил:

– Я нужен там!

– Боишься уступить эту честь? – усмехнулась Лия. – Лемех Лемперт тоже хочет быть там первым...

Конечно, лучше бы она этого не говорила. Он шагнул к ней и с дрожью в голосе проговорил:

– Вот именно, поэтому я и должен быть там первым! Чтоб такие, как Лемперт, не испоганили землю, которую дали нам... честным людям...

– В таком случае, – ответила Лия, отвернувшись, – запомни: если уедешь, сына у меня больше нет! Кончено! И отец, знай это, думает так же...

Лия искоса взглянула на сына и поняла: все равно он уедет.

– А во-вторых, – добавила она, – знай: если ты уедешь, я этого не переживу...

Спустя полгода, уже зимой, пришло первое письмо.

Он помнит, писал Семен, что родители отrekliсь от него и просили его не писать. Тем не менее он считает своим долгом сообщить, что давно прибыл на место, живет и работает. Жизнь не легкая. Но он ни о чем не жалеет.

Наоборот, все оказалось гораздо интереснее, чем он предполагал. Работы очень много как раз по его строительной специальности. А это – главное. Особенно дорого ему то, что место новое, что все приходится начинать с самого начала и что он – один из первых зачинателей.

Вот и все, что было в этом письме. Отец говорил, что надо немедленно ответить, но Лия не разрешила.

– Мое слово твердо! – говорила она.

Ее все еще не покидала тайная надежда, что своим упорством ей удастся сломить упорство сына и он вернется.

Но тут на нее свалилось новое горе: муж был насмерть задавлен опрокинувшимся возом. Лия едва не умерла, но выкарабкалась: нет, мы, Черновецкие, не из жидкого теста!

А прохвост Лемех Лемперт таки собрался в Биробиджан: «Проезд в один конец обеспечен... Что я на этом деле теряю? Пронюхаю!..»

Лия тоже зашла на лекцию о Биробиджане; в зале постоянно раздавался чей-нибудь шепот:

– Вы слышали, там уже кое-что отстроили.

– Это уже – район!

– Ну, дело верное!

Лектор рассказывал, что Биробиджану оказывают большую помощь трудящиеся Москвы, Ленинграда, Харькова, Минска и других городов. Правительство ассигнует значительные суммы на освоение природных богатств, на развитие промышленности и сельского хозяйства.

– Слыхали? – говорила Поля Лие, когда они поздно вечером возвращались домой. – Это, оказывается, богатые места. Я и не знала. В Крыму, говорят, почва каменистая и воды нет, а там всего вдоволь и земля нетронутая. Слыхали, какие там горы, реки, леса! А что вы скажете о рыбе? Слыхали, там ею кишат реки. А тут заваливший карась – редкость...

– Даже если не все, что он говорил, – правда, – наконец глухо промолвила Лия, – все же это интересно.

Поля не поняла, говорит она серьезно или издевается. Она все не могла успокоиться.

– А что вы скажете про эти сокровища в горах – и золото, и уголь, и...

– Что и говорить, – золотые горы! – сказала Лия, и на этот раз Поля явственно почувствовала насмешку в ее голосе.

– Вы что же, не верите? – удивленно спросила она и прибавила с досадой: – Зачем же, в таком случае, ходить, слушать?

Женщины поругались бы не на шутку, но оказалось, что они уже стояли у двора Лии. Та сухо кивнула и вошла в дом.

Лия стала жадно ловить каждую новую весточку о тех местах, куда уехал ее сын.

Спустя некоторое время в городе появилось несколько человек, приехавших оттуда. Лия кинулась к ним.

Однажды, возвращаясь от одного из них, она заметила на противоположной стороне узкой улицы Полю и окликнула ее.

– Что же, – спросила она, отходя с Полей за угол, чтобы не мешать прохожим, – вы все еще верите в золотые горы, обещанные вам? Вот послушайте, что говорят люди, побывавшие там. Во-первых, это еще совершенно необжитые места. Глушь. Можно проехать сотни верст, и ни одного селения...

– А то, что рассказывают о горах, о реках, о рыбе? – недоумевала Поля.

– Все это, говорит он, может быть, и правда, но там ни пройти ни проехать... Туда, говорит, привезли новехонькие машины, и как застряли они в грязи, так и не вытащили их оттуда...

– Что же там, топи такие?

– Не приведи бог...

– Не пойму, как там люди живут? – удивлялась, не веря, Поля.

– А лес, – торопилась рассказать Лия, – лес там вовсе не похож на наши леса, и зовут его не так, как у нас. Там это – тайга. И тянется она без конца без края на тысячи верст...

– Стало быть, правда, что рассказывают и о лесе, тамошнем богатстве, – перебила Поля.

– Да-а... Особенно богата тайга эта комарьем... От комаров нет спасенья.

– Но солнце, – не успокаивалась Поля, – правда ли, что солнце там греет одинаково и зимой и летом?

– Солнце? Солнце, говорит он, действительно могло бы греть круглый год. Да беда в том, что лето дождливое, а зимой дуют ветры, и такие морозы, каких у нас, на Украине, никогда не бывает, – до пятидесяти градусов...

– До пятидесяти градусов!

– Вот вам и зима, и лето, и золотые горы... – закончила Лия, выразительно глянув на Полю.

Поля пожала плечами. Собралась уже уходить, но вдруг остановилась:

– Не правда ли, вы тогда не поверили тому, что рассказывал докладчик в очках, из Москвы?

– Я вам сразу же сказала...

– Ну вот... А я вашему знакомому не верю, совсем не верю... Передайте ему, пожалуйста, от моего имени, что он врет...

– Помилуйте, человек только что оттуда!

– Вот именно, потому что оттуда... А чего же вы хотели – чтобы он хвалил те места? Ведь он же удрал!

– А почему он в самом деле удрал? От добра не бегут.

– Не каждый, – сказала Поля, – знает, где оно – добро...

Они помолчали. Видя, что Лия остается при своем мнении, Поля добавила примирительно:

– Знаете, что я вам скажу: надо по бывать там самим, тогда незачем будет слушать всякие рассказы...

Между тем вернулся Лемех Лемперт. В тот же день Лия отправилась к нему. Потом она долго не могла забыть, как ошеломил Лемперта ее приход. Он стал пятиться к стене, закрывая руками лицо, словно не верил своим глазам.

– «Шма Исроэл!» – повторял Лемех. – Это вы, Лия? Значит... стало быть, вы... Живы, стало быть?

Лия вспыхнула:

– А вам кто-нибудь разве говорил, что я...

– Ну, как же... Люди рассказывали... Приезжали и рассказывали...

Когда оба пришли в себя, Лия, замирая от страха, спросила о сыне. Да, отвечал Лемех, он видел его, сразу же по приезде. Как он выглядит? Вырос за это время чуть ли не на голову, плечи раздались вширь – настоящий гвардеец! Уважают его в Биробиджане, даже сказать невозможно как! Назначили начальником какого-то строительства. Шагает в резиновых сапогах по болотам, всем и каждому показывает: вот тут будет театр, тут школа, а там – горсовет... Ни о чем другом, кроме строительства, думать не хочет и радуется так, как будто все это он уже сам построил...

Лия поднялась и направилась к двери. Но на пороге она остановилась:

– Да. Скажите, пожалуйста, а сейчас, перед отъездом, вы его видели?

– Видеть не видел, но слышал... Вы только не пугайтесь, не принимайте близко к сердцу...

– Что случилось? Не тяните!

– Когда начались бои на границе, у железной дороги, то есть у КВЖД, – читали, наверное, в газетах, сын ваш стал упрашивать, чтобы его послали туда, в самый огонь. Его с работы отпускать не хотели. А он твердил свое: огонь надо гасить вовремя...

– Да! – вздохнула Лия. – Конечно, везде он должен быть первым...

– Словом, он добился своего. Его послали. А что с ним дальше было, не знаю. Пока что, говорят, он еще не вернулся...

– Не может быть! Не верю я! – Лия вдруг поднялась во весь рост, стукнула тростью об пол, закричала: – Я его разыщу!

Распахнув двери, Лия в разметавшемся темном платке выбежала во двор – как будто вылетела большая черная птица.

Вместе с Полей Берман и ее мужем Даниилом Лия отправилась в Биробиджан. Прележала на полке все две недели, и, если автор намеревался передать скуку пути скукой текста, это ему прекрасно удалось.

– Это оно и есть? – спросила Черновецкая, выходя из вагона и с трудом ступая отвыкшими от ходьбы ногами. – Это и есть Биробиджан?

Она обращалась к Берманам. Они стояли одни на платформе, на которой не было даже станционного здания. Куда-то вдаль убежали рельсы.

– Очевидно... – проговорил Даниил, озираясь по сторонам, и вдруг хлопнул себя по мясистому носу.

– Что с вами? – удивилась Лия.

– Не знаю... Укусила какая-то чертовщина! Муха, что ли...

– Это, должно быть... – начала Поля, но, не договорив, схватилась обеими руками за лицо.

– Ага, – догадалась Лия, – это, наверно, и есть биробиджанский «гнус»! Стало быть, и в самом деле приехали!..

Занятые первой встречей с местными комарами, они и не заметили, что кто-то обращается к ним.

– Вы переселенцы? – спрашивал какой-то небольшого роста человек на кривых ногах, в резиновых сапогах, чуть ли не доверху забрызганных грязью. – Чего же вы молчите? Так бы и сказали! Пойдемте, я отведу вас на переселенческий пункт.

При этом он деловито оглядел ноги новопривывших.

На Поле были поношенные туфли на низких каблуках, на Данииле – легкие ботинки. Человек сокрушенно покачал головой и обратился к Лие:

– У вас, бабушка, такое длинное платье – не вижу, что у вас на ногах.

– А какая разница? – обиделась Лия.

– Большая разница! – ответил тот. – Если у вас сапожки вроде моих, это еще куда ни шло. Но если вы, извините, ходите в таких же гамашах, как они, то нам с вами будет нелегко... Ну, да ладно, придется, видать, двинуться дальним путем. Шагать немного дольше, но зато вы не оставите своих ботиночек в грязи.

– Боже мой! – вскрикнула Лия, как только, вслед за провожатым, сошла с песчаной насыпи.

– Что такое? – испугались Поля и Даниил.

– Боюсь! – кричала Лия. – Земля качается, как опара... Живьем проглотит...

– Не бойтесь! – успокоил провожатый. – Из этой опары когда-нибудь хороший хлеб будет. Не обращайтесь внимания! Шагайте... Привыкнете... Вы только за мной, след в след, идите. Куда я, туда и вы...

День был на исходе. Моросил долгий мелкий дождик, и вдали едва различались контуры домов. Многие были в лесах и казались издали, сквозь частую сетку дождя, остовами каких-то фантастических судов.

Поля обернулась и увидела, что Лия стоит, опираясь на свою палку, и смотрит в сторону раскинувшегося вдали поселка.

– Что с вами? Чего вы стоите.

– Ничего, ничего! – ответила Лия и вдруг расплакалась. – Все-таки хорошо, что я уже здесь. Вы понимаете, Поля? Наверно, Сема тогда стоял на этом месте... А там, видите, строя дома. Может быть, он строил их и лазил там? Мне кажется, я вижу его и на той горе... – Лия указала на дальнюю сопку. – Наверное, он был там не раз. Не может быть, чтобы высилась гора и чтоб он на нее не взобрался. Ведь я его знаю...

Медленно тянулись унылые дождливые дни, первые дни на новом, необжитом месте. Даниил и Поля сразу же пошли работать на строительство: он – столяром, она – на подсобную работу.

В столовой на той же стройке стала работать и Лия и вскоре прославилась как искусная повариха, умеющая «из ничего» состряпать замечательные блюда.

Квартиру, только что оштукатуренную, еще сырую комнату, им предоставили на троих. В тесноте, да не в обиде. Это ненадолго.

Вечером, после работы, соседи готовили ужин во дворе и подолгу сидели у огня. Разговаривали о своих делах, а пламя выхватывало из темноты то одно, то другое лицо, то несколько лиц сразу...

Тогда Лия и узнала, что многие работавшие на стройке знают ее сына. Все они хорошо говорили о нем. Особенно дорог стал для Лии один человек, старый плотник, мастер на все руки, Василий Петрович Дубов, один из лучших работников на стройке. Он давно, еще с русско-японской войны, поселился здесь, имел свой небольшой, почерневший от времени, но крепко сбитый домик, всегда чистый и опрятный.

– Не дело это, – говорил Василий Петрович, часто заглядывавший в небольшую, еще сырую комнату, где Лия жила вместе с Даниилом и Полей. – Тут и не отдохнешь после работы. Как же так старому человеку? Пустует у меня светелка, окажи милость, переселяйся пока...

Лия переехала к Василию Петровичу. По вечерам, после работы, когда вся семья сидела за чаем, Василий Петрович рассказывал Лии о ее сыне.

– Полюбился он тут нам, – говорил старик, попивая чай. – Светлая голова, и руки золотые. Все умел делать, за что ни возьмется, все, бывало, кипит под руками.

Работы было много, и Лия забывала о своем горе: перед общим делом отступали понемногу личные горести и невзгоды.

Однажды за ужином, когда все пили из больших кружек густо настоенный на ягодах кисловатый пахучий напиток, к которому Лия с трудом привыкала, Василий Петрович сказал, утирая мокрые усы:

– Сходила бы ты, мать, к Верхову.

– Кто это?

– Парторг наш, разве не знаешь?

– Да знал ли он моего сына? И без меня у него дел много.

– Нет, мать, – решительно сказал Василий Петрович, отставив поднесенную к губам кружку. – Этого ты не говори. Коммунистам до всего дело есть.

Андрей Верхов был еще молод. На загорелом, сильно обветренном лице выцветшими казались густые белесые брови. Глаза были голубые, с веселыми искорками, внимательные, располагавшие к откровенному разговору.

Выслушав Лию, Верхов помолчал и вдруг вскинулся:

– Вот что! Мейлаха Фукса знаете?

Мысль об этом человеке, очевидно, чем-то была приятна Верхову.

Мейлах Фукс был старик лет семидесяти, удивительно крепкого, могучего сложения. Приехав несколько лет тому назад на станцию Тихонькая из Кременчуга, где он работал грузчиком, он с несколькими своими земляками отправился в тайгу искать, где посуше да повыше.

Прошло немного времени, и люди, не знавшие раньше Мейлаха Фукса, не могли бы поверить, что этот старик и вся его семья не коренные местные жители, – так прочно осели они в тайге.

Неподалеку от дома Мейлаха колхоз поставил большую пасеку, первую в этих местах, и Фукс на старости лет стал пчеловодом.

Мейлах говорит о пчелах: «Мои грузчики!» – так называет он их.

К этому человеку время от времени приезжал из Тихонькой Семен и проводил у него день-другой. Местные жители дали ему охотничье ружье, и Семен бродил с ним по тайге.

– Вот Фукс, наверное, знает что-нибудь о вашем сыне, – закончил Верхов.

– А может быть... может быть, его дочь? – с дрожью в голосе спросила Лия.

– Кто его знает? – неопределенно ответил Верхов, и смешливые искорки вспыхнули у него в глазах. – Может быть, и дочь...

В первый же выходной день Лия отправилась к Мейлаху Фуксу. Узнав, что Лия – мать Семена, старики очень обрадовались, усадили пить чай, угостили прозрачным душистым медом.

– Работа моих «грузчиков», – заметил Мейлах. – Семен не раз лакомился этим медом. Скучаем мы по нему, как по родному.

– Очень к нему привыкли! – добавила старушка. – Да и он к нам...

Лия всячески пыталась выяснить, не имеет ли это отношение к их дочери. Однако ни Мейлах, ни жена намеков как будто не поняли, а спросить открыто Лия не решалась.

– Раз так, – Лия встала из-за стола, не допив чай, – я уже нигде и никогда ничего о нем не узнаю. Извините, что отняла у вас время.

Старик преградил ей путь.

– Кто сказал, что я о нем знаю? – спросил он.

– Парторг, товарищ Верхов.

– Товарищ Верхов не говорит неправды. Я-то как раз и знаю...

Глаза у Лии вспыхнули надеждой. Старик кивком головы попросил ее следовать за ним. На огороженной поляне стояли рядами окрашенные в желтоватый цвет ульи. Пахло тайгой и медом. Пасека была похожа на небольшую фабрику, где множество маленьких тружеников делали свое дело под наблюдением хозяина – великана.

– Вот видите? Смотрите. Где только они не летают, где не бывают мои «грузчики» за день! По всей тайге носятся, вон до тех далеких сопок... Но куда бы ни залетели, возвращаются они сюда...

– Да... Ну и что? – сказала Лия. – Какое же отношение это имеет к сыну?

– А вот какое. Пришел другой пасечник, покрупнее, чем я, дай ему бог здоровья, собрал всех нас, дал нам много богатой земли и сказал: складывайте здесь все, что соберете. Поняли вы меня? Если вы хотите когда-нибудь увидеть своего сына, ни в коем случае не уезжайте отсюда. И он сюда обязательно придет. Капля его меда есть уже на этой земле. Он сюда вернется...

Проходили годы, надежда увидеть сына все слабела. Никаких известий о том, что он жив, где он, не было...

В Биробиджан прибывали все новые и новые люди, и каждый из них вкладывал свою долю труда в общее дело.

Так шли годы.

И вот началась война. И тогда, хотя Лия была уже не так одинока в своем горе, боль, тоска по давно потерянному сыну разгорелась с новой силой...

И в артели, и дома, и даже в соседних домах знали, что никто лучше старой Черновецкой не умеет подобрать, упаковать и обшить посылку бойцу на фронт. Ей самой нравилась эта работа.

Несколько раз она и от себя посылала скромные подарки на фронт: мало ли там молодых воинов, у которых нет матерей.

Однажды соседки уговорили ее вложить в посылку письмецо. Она, писала Лия, не знает, кто получит ее подарок, но кто бы он ни был, да будет ему известно, что шлет ему эти вещи от всего сердца старая женщина с Дальнего Востока, у которой никого нет. (Был у нее когда-то единственный сын, да куда-то пропал.) Но она посылает свой подарок с тем же чувством, с каким она посылала бы его родному сыну. И подписалась: «Лия Черновецкая». Ответа она не ждала.

– Во-первых, – говорила она, – когда бойцу отвечать, до того ли ему. Ведь война!

Это было в начале зимы. А однажды лето м кто-то постучал в двери. Лия тяжело поднялась и пошла открывать. На пороге стоял паренек с озорными зеленоватыми глазами. Он держал брезентовую сумку, набитую газетами и письмами.

– Это не ко мне! – сказала Лия и притворила дверь.

Однако парень постучал вторично.

– Нет, к вам! – сказал он. – Лия Черновецкая – вы?

– Я...

Дрожащими руками она схватила очки, потом выхватила из рук паренька письмо. Почтальон уже ушел, а Лия, не в силах успокоиться, все стояла у стола и разглядывала маленький треугольный конверт. Вдруг она тяжело опустилась на стул и заплакала: она могла бы получить его и от сына...

Она смотрела на треугольный листок и думала: вот она распечатает, развернет письмо и прочтет: «Дорогая мама...» Неужели это невозможно? Разве не могло так случиться, что Семен все эти годы скитался где-то в далеких краях, а когда началась война, пошел, как и все, на фронт...

И вот... однажды в его часть прибыла среди тысяч других посылка от Лии Черновецкой, ее, конечно, дали ему. Что тут невозможного? И, конечно, он ответил... И все! И наступит конец ее мучениям.

Наконец она не выдержала, открыла письмо.

И вдруг сердце оборвалось и куда-то покатилося... «Дорогая мама!» Лия приглушенно вскрикнула...

Когда она очнулась и затуманенным взором обвела комнату, у ее ног лежало шитье, которое она, падая со стула, потянула за собой, а в складках материи – письмо.

Взяв себя в руки, Лия прочла листок от начала до конца, и ей стало стыдно, что она так поддавалась мечте о невозможном.

Писал боец. Подарок и письмо, которые ему достались, говорилось в письме, дали ему право назвать ее, незнакомую женщину с Дальнего Востока, матерью... Пусть же она и дальше разрешит ему так называть ее. У нее, писал он, был сын, которого она потеряла. А у него были отец и мать, две сестры, брат, племянники и племянницы, которых расстреляли за связь с партизанами.

Он благодарит ее за это сердечное письмо и за подарок. Он хочет и в дальнейшем переписываться с ней. Звали бойца Николаем Певцовым.

Да, ответила она ему на следующий день, она считает его своим сыном, как и всех, кто сражается на фронте. Пусть он пишет ей, и, если ему что-нибудь нужно, она постарается ему помочь.

Жизнь Лии теперь стала полнее. Она больше не чувствовала себя одинокой, как раньше. Певцов аккуратно отвечал на все ее письма.

Войну он начал рядовым, писал он, а сейчас получил звание лейтенанта. Он разведчик, и ему часто приходится бывать в тылу у врага.

– Видно, опять «в гостях» у немцев! – говорила Лия Поле Берман или Василию Петровичу, показывая им письма. – Хоть бы обошлось все благополучно! – добавляла она, вздыхая.

По ночам Лие снились путанные сны. В них самым причудливым образом переплетались лейтенант Певцов и ее сын... Этот чужой парень сделался ей так близок, что даже наяву его образ начал сливаться с образом ее сына.

Между тем письма перестали приходить. Не иначе, думала Лия, случилось несчастье.

Наконец письмо пришло. Оно было из госпиталя и написано неровным почерком. Певцов писал, что в последний раз, когда он ходил в разведку, его тяжело ранили. Он чуть не попал в плен, его спасли товарищи.

Теперь он уже почти здоров. Недели через две-три его выпишут из госпиталя и дадут непродолжительный отпуск. Но ехать ему, как ей известно, некуда.

Лия всюду носилась с этим письмом, читала и перечитывала его, ходила с ним к Поле и к Василию Петровичу. Давно уже не была она так счастлива, как в день, когда получила эту весточку.

В госпиталь она отправила телеграмму, где просила Певцова приехать к ней.

– Куда же еще ему ехать? – говорила она соседям. – Ведь у него никого больше нет!

Прошло немного времени, и прибыл ответ: он едет к ней...

Бенци уже давно хотелось перевести дух, но никак не удавалось. Готовность все принять, если уж не с благоговением, то хотя бы с почтительностью, к шестидесятой странице улетучилась без остатка, однако на вопросительные взгляды время от времени заглядывавшей из кухни Доры Соломоновны он кивал с чрезвычайной значительностью.

Безнадежность нарастала с каждой страницей; он уже не читал, а только проглядывал.

Лия страниц пять дожидалась своего названного сына, а его все не было, зато из вагона вышел какой-то храбрый военный в новом коричневом кожаном пальто, туго перетянутом ремнем, в невысоких, ярко начищенных сапогах, и Бенци сразу понял, что это ее настоящий сын. Так и оказалось: он смертельно побледнел, а Лия остановилась и громко вскрикнула.

Военный бросился к ней навстречу:

– Мама!

* * *

Потом она лежала на кровати без кровинки в лице, глядя на его широкую грудь, на которой сверкали ордена; дальше Бенци пропустил несколько чувствительнейших страниц от стыда перед автором, с таким чувством, словно он застал замечательного человека без штанов. Он нашел в себе силы только прочесть, как Семен Черновецкий бродил по весенним улицам Биробиджана.

* * *

Все, что он видел, не переставало удивлять и радовать его: и гладкий асфальт под ногами, и двух- и трехэтажные дома в центре, и густая сеть проводов над головой, и трубы заводов на окраине.

«Так вот, – думал он, – что соорудили здесь за пятнадцать лет...»

Тогда этого ничего и в помине еще не было... Тайга, глушь, мошकारа... Захолустный разъезд, которому под стать было название «Тихонькая». Болота, трясина, сопки и горы: вблизи – зеленые летом, желтые и оранжевые осенью, белые зимой, а издали всегда туманные, дымчато-голубые.

Издали все это было изумительно красиво, особенно летом, вблизи – дико, недоступно, опасно...

Он вспомнил, как в первые дни манила его ближняя сопка, та, что сейчас высится по ту сторону моста за городом. Казалось, вот она, рукой подать! Но он шел до нее целый день. И не то чтобы она была далеко, но почти невозможно оказалось добраться до нее. Вот по дороге широкая поляна, заросшая высокой, бархатисто-зеленой травой. На такой поляне, где-нибудь на Украине, за околицей, как хорошо было прилечь под деревом, лежать и смотреть в ясное, глубокое небо, следить за травинкой, по которой ползет божья коровка, красная с черными пятнышками, чуть приподымая крылышки, а травинка гнется под ее тяжестью...

Но не успел он опуститься на траву, как туча мошकारы облепила его со всех сторон. Отмахиваясь и чертыхаясь, он помчался прочь.

«Вот тебе и божьи коровки!» – посмеялся он тогда над собой и решил больше не доверять здешним полянам.

Дальше по пути ему встретилась еще одна такая поляна, но он уже не соблазнился и решил быстро пройти по ней, чтобы немного сократить путь. Но, сделав несколько шагов, вдруг провалился по колено в воду, предательски прикрытую высокой травой... Еле выбрался, вымокший, грязный.

«Да, – сказал он тогда себе, – весело здесь будет. Работы, во всяком случае, хватит!..»

Но он был не из пугливых. Наоборот, мысль о предстоящей большой работе вселяла бодрость. Он подошел к реке, снял одежду и бросился в воду.

Хотелось покачаться на прохладных волнах. Однако течение сразу стремительно подхватило его и понесло так, что он не мог сопротивляться. Вода была такая холодная, как будто на дворе стояло не лето, а глубокая осень.

Так он впервые познакомился с Бирой.

– Интересное знакомство! – проговорил он, вылезая из воды и дрожа от холода. – Учись, брат, хозяйничать в новых местах! Даром ничего не дается!

Затем нескончаемо тянулись жизнеподобные, то есть невыносимо пустые и скучные, разговоры, празднования, чествования – и вот наконец настал миг решающего объяснения.

– Все-таки, – начала она, – я никак не пойму, почему ты за столько лет ни разу не написал...

– Мама! – горячо воскликнул Семен и решительно шагнул к ней.

– Знаю, знаю, – перебила она, – ты скажешь, был невесть где, ты мне уже рассказывал... Сначала на границе был ранен, остался в армии, на Сахалине служил и еще где-то. В летной школе учился, потом на Хасане, в Монголии. А там большая война началась... Знаю... Но мать! Как можно забыть родную мать?

Он опять круто повернулся, но она, как когда-то давно, повелительно махнула рукой, и он остановился.

– Допустим, – продолжала она, – у тебя была суровая мать... Но...

– Мама! – умоляюще проговорил Семен.

– Нет, нет! Позволь. Ты хорошо знал, что ты мой единственный сын, моя единственная радость... Я тебе добра желала...

Семен устремил на нее полный невысказанной боли взгляд:

– О, если бы я знал все эти годы, что ты жива...

– Значит, ты был действительно уверен, что меня... нет в живых?

– Да, – ответил Семен. – С тех пор, как приезжал сюда этот... Лемех Лемперт...

– Пусть будет проклята память о нем! – произнесла Лия.

Увлеченные разговором, они не сразу услышали, что стучат в дверь. Семен пошел открывать. На пороге стоял веснушчатый почтальон.

– Ах, это, наверное, от Певцова, от Николая Певцова, – спохватилась Лия и нетерпеливо протянула руку за письмом. – Это война, Семен, мне второго сына дала... Он должен был приехать в тот самый день. Читай скорее, что он пишет.

– «В тот день, когда меня должны были выписать из госпиталя, – читал Семен, – у меня открылась старая рана и меня задержали...»

С интересом, по-новому смотрел Семен на свою мать и, едва скрывая удивление, сказал:

– Послушай, мама, он ведь пишет тебе, как родной матери... Он так и называет тебя...

– Так ведь у него больше никого нет!

Семен задумчиво прошелся по комнате.

– Если приедет не позднее чем через неделю, – сказал он, остановившись, – мы с ним встретимся здесь у тебя...

– А что, – испуганно воскликнула Лия, – ты уже собираешься уезжать?

– Теперь не время, мама, долго отдыхать. Но вот, – Семен постучал пальцем по конверту, – его я хотел бы повидать... Может, мы с ним на одном фронте дрались... Быть может, я поддерживал его сверху своим истребителем, когда он шел в атаку... Ну, а сейчас мы с ним братья...

– Да! – сказала Лия. – Братья... Сыновья.

Большой, сильной рукой Семен крепко обнял худые плечи матери.

Пытка наконец закончилась, но Бенци по-прежнему делал вид, что читает, чтобы не встретиться взглядом с хранительницей памяти великого писателя. Грудь сжигала невыносимая изжога, левую руку дергало так, словно она была один сплошной нарыв, дышал он с таким трудом, будто ему передалась одышка самой Доры Соломоновны. Правильно высчитав, что времени для прочтения она отвела достаточно, она теперь со свистом вдыхала и выдыхала, прочно усевшись напротив гостя, не сводя с него выжидательных шоколадных глаз.

– Ну как? – наконец не выдержала ее материнская гордость.

Бенци значительно покивал, словно не находил достаточно возвышенных похвал.

– Я сххазу поньяла, што ви в этом ххазбиххаетесь! – просияло ее лиловое отечное лицо. – И вот пххедставьтье себе, Милю не хотьели печьятать в московских жуххналах – только из-за того, што он был евххэй!

Бенци незаметно забросил под язык рубиновую капельку нитроглицерина. Нерожденная сказка умерла и уже начала разлагаться, отравляя его душу трупным ядом. Но, может быть, еще можно что-то спасти?.. Конечно, открыть в Красном Сионе безвестного гения было бы более красиво, но и более банально, а вот изобразить трагедию певца, которому не просто не позволяют воспеть предмет его любви, но который еще и не имеет голоса для этого?..

Но может ли трагедия безголосого певца быть высокой и красивой?..

Однако размышлять о столь сложных материях не было ни малейшей возможности – Дора Соломоновна неумолимо ждала продолжения: книжка была не дочитана и до половины. Бенци снова хотелось пойти в туалет, но он не смел. Оставалось читать и мечтать о бутылочке в брюках.

* * *

Бенци осторожно заглянул в начало стоявшего на очереди рассказа – и буквально перевел дух: рассказ явно подавал признаки жизни. Назывался он «Золото», и в приоткрывшемся за буквами мирке Бенци увидел, как Доба-тощая третий день не выходит из дома, изнемогая от страха, что к ней придут искать золото, – страх сторожит у ее изголовья, скрипит дверь, шуршит под крышей, ударяет в ставень...

Доба сидит на высокой остывшей печи в темном углу. Вокруг бродят запахи старых субботних чугунов, опаленной курицы, грязной клетки, в которой томится старый индюк. Доба держит во рту под языком, чтобы не скоро растаял, кусочек мучнистой карамельки и пьет остывший кофе из черного горшка, сжимая его худыми искривленными пальцами. Взгляд ее больших, черных, слезящихся глаз то и дело обращается к полуоткрытой двери, ведущей в сени. Там, запертый в клетке, с полузакрытыми глазами старика, чутко дремлет индюк, в любую минуту готовый приоткрыть узенькие щелочки.

Сейчас Добе кажется, что индюку тоже страшно. Он то и дело встает на свои тощие и грязные ноги, покрытые чешуей, царапает когтями грязную клетку и вдруг кричит, совсем как в доброе старое время:

– Олдр-олдр!..

– Что это его там разбирает? – ворчит Доба и наклоняется с печи так, что едва не касается длинной седой прядью золы па припечке.

– Олдр-олдр! – снова кричит индюк.

Доба отставила горшок с кофе и прикрыла его тряпкой. Из-за редких пожелтевших зубов вынула остаток карамельки, завернула в бумажку и спрятала в карман передника.

Потом она осторожно слезла с печки, упираясь рукой в потолок, и, путаясь в залатанной замусоленной юбке, вышла в сени.

– Олдр-олдр! – раскричался индюк, очевидно, полагая, что хозяйка принесла ему поесть.

Из верхнего узенького окошка над клеткой тянулась бледная полоска света, еле пробиваясь сквозь паутину, мутные стекла, терялась в темном корытце с застоявшейся водой.

Доба наклонила голову набок, подперла рукой запавшую морщинистую щеку с волосатой бородавкой и проговорила, обращаясь к индюку:

– Провались ты! Ешь то, что под ногами...

Индюк глянул на Добу круглым глазом, тоже наклонил голову, будто хотел сказать: «Оба мы с тобой мытаримся... И чем это все кончится?»

Возник невысокий старик с длинной курчавой бородой и острым взглядом – резник. Но что сейчас резать – разве что свиней в этом колхозе! А каких, бывало, жирных кур и откормленных гусей доводилось резать ему в доме красавицы мануфактурщицы Добы!..

Откуда-то взялся ее сын Исосхор; облика он не имел, но слова летели из него, как искры из костра:

– Мне нужны деньги, мамаша! Я весь дом разнесу! Гниешь тут вместе со своим золотом!

«Это ты с матерью так?..» – «Где у меня мать?..» Исосхор хлопает дверью так, что подпрыгивает корытце в клетке с индюком. «Какое золото, неужто про меня люди такое болтают?..» – причитает Доба, обращаясь к резнику.

– Стану я слушать все, что болтают!.. Недавно встречает меня один человек – не могу вам назвать его имени, но очень порядочный человек – и спрашивает, не знаю ли я, где можно достать золотые пятирублевки. Теперь этого нигде не достать. Если и были у кого, так либо их отобрали, либо сами давно уже снесли в «Торг-син». Они говорят, что на эти деньги строят страну... К чему я вам это рассказываю? Просто так, зашел к вам, вот и рассказываю...

Тусклый, неровный свет скользил по стенам, перебежал с одной фотографии на другую. На одной фотографии Доба и ее муж. У нее на высокой груди – медальон, волосы взбиты, лицо усталое. У мужа – подстриженная бородка, подкрученные усы, по жилету цепочка. Паук затянул фотографию серой сетью, полной дохлых мух. На окне сиротливо стояла треснувшая фарфоровая лампа. На голом столе чадила коптилка из аптекарского пузырька с жестянкой. Рядом лежала холодная, круто посоленная картофелина, стоял черный горшок из-под кофе.

Доба скрючившись сидела в углу на кровати. Она бормотала что-то, глядя в одну точку на стене. В паутине едва шевелила лапками муха. Из-за ставень доносился лай собак, то стихал, то снова становился громче... Огонек коптилки замигал – кончился керосин. Тень от крюка, торчавшего посреди потолка, начала метаться в разные стороны, то вытягиваясь, то сжимаясь. Доба погасила огонь и прислушалась. Под ставнем билась в стекло ночная бабочка. В сенях индюк крикнул со сна не своим голосом. Доба достала из-под слежавшейся постели глиняную лепешку, положила ее на костлявые колени и привычными движениями нащупала круглые впадинки:

– Восемь, девять, десять... – медленно считала она.

Еще в ту пору, когда купила индюка, Доба замесила песок с глиной и, пока масса не засохла, вдавила с обеих сторон все свои золотые пятирублевые монеты. Потом вынула и запрятала их в разных местах – в грязь под индюком, под потолком, возле крюка... Часто она доставала засохшую глиняную лепешку, тощими пальцами ощупывала оттиски...

Тяжело, как будто она весит много пудов, Доба переворачивает лепешку на другую сторону, вздыхает. В деревне, там, где сейчас колхоз, брат Добы Зайвл много лет имел свою мельницу, усадьбу и большой красивый дом. Назло местным кулакам этот дом с зелеными ставнями стоял посреди деревни, рядом с церковью. Однажды в конце субботы

Доба приехала к Зайвлу. Жила она хоть недалеко, но гостьей была редкой. На этот раз ее застигла ночь, и Доба осталась ночевать у брата. Она помнит как сейчас – все спали, и она влезла на чердак. Неподалеку от трубы на веревке сохла конская шкура. В этом месте она и зарыла шерстяной чулок, набитый золотыми пятерками...

Вскоре после этого в селе организовали колхоз. Зайвлу со всей его семьей выселили. Окна красивого дома заколотили досками – дом стал хлебным амбаром...

Об этом и думает сейчас, сидя на кровати, Доба. Об этом она может думать целые ночи напролет. «Как достать оттуда заветный чулок?»

Если бы она его достала, она бы вложила туда остальные пятирублевки и уехала отсюда. Куда? Куда глаза глядят, лишь бы не оставаться здесь, в этой западне, где нельзя даже высунуть голову... Но без этого шерстяного чулка, о котором, кроме Зайвлу, не знает ни одна душа, – она не может тронуться с места...

Двух вещей больше всего боялась Доба: чтоб не подох индюк и не сгорел амбар. Она слыхала: случается, что в колхозах кулаки поджигают амбары...

«Вот если бы так было, – думала она. – Чтобы вдруг вспыхнул пожар и охватил все село, весь колхоз. Чтоб сгорели дотла все дома, и люди, и дети, и кони, и коровы, – все до цыплят и насекомых... И чтобы только амбар уцелел».

А в это время там, где вербы неподвижно стояли, склонившись над водой, сидели Исосхор и Дворця.

– Ну как, Дворця, помиримся? А?

– Это золото... Не нравится мне это... Сколько я ни думаю, мне кажется, надо его отдать... Ну, ты понимаешь, кто я такая? Вот скажи...

– Ты – красивая девушка, Дворця! Мне бы такую на всю жизнь...

– Нет, не то. Я в колхозе ударница, бригадир...

– Будешь меня агитировать?

– Я хочу понять, Исосхор, с кем ты?

– А я уже понял. Покончено с этим, Дворця!

– С чем?

– У старухи нет больше золота...

– Но ты отнес его, куда я говорила?

– Дворця, уедем отсюда вдвоем, купим себе квартиру.

– Так ты не отдал золото?! – Дворця бросилась прочь.

Вскоре Исосхора и след простыл. Он словно в воду канул...

Впервые за много лет Доба надела зеленую с толстой бахромой шаль. Добавочными засовами заперла ставни изнутри, залезла под печку, достала из кучи хлама два ржавых замка. Третий замок со связкой длинных ключей висел на кухне на гвозде, белом от присохшей известки и усиленном мухами. Ржавые длинные ключи висели неподвижно. Казалось, они хранили память о мануфактурной лавке, о богатом бакалейном магазине, о просторном заезжем дворе с полутемными комнатухами.

Доба, в потертой залатанной шали, в покоробившихся, подвязанных веревочками шлепанцах, со связкой ключей и с замками в руках, остановилась на минутку в сенях перед клеткой.

– Скоро подохнет. Толку от него... – проворчала Доба и вышла, опираясь на палку, отправилась в деревню, к Дворце – узнать, куда девался Исосхор.

Но Дворця работала в поле. От ее матери Доба узнала, что дочь поссорилась с Исосхором...

– Разве вы ничего не слыхали? – сказала старуха, с удивлением глядя на Добу. – Все об этом говорят... Никто не знает, откуда у него взялись такие деньги... Ведь он уже третью неделю гуляет в городе...

Но Доба уже не слушала. Она бежала, низко наклонив голову, чтобы никто ее не остановил, не задержал, бежала домой.

Доба вошла в комнату, посмотрела на крюк на потолке и чуть не лишилась чувств. Глина вокруг крюка осыпалась, видно, уже давно... Она взобралась на стол и стала ковырять ножом потолок. Сухая глина падала на плечи, на ноги, она не замечала... Вот и то отверстие, но оно было пусто! Доба дико закричала. Выпавший из рук нож воткнулся острием в стол, так и остался торчать. Доба сорвала с головы шаль, платок, чепец, с рассыпавшимися волосами бросилась в сени, вырвала из засохшей грязи клетку с индюком и отшвырнула ее в сторону, а сама, упав на колени, стала ногтями разрывать и разбрасывать во все стороны грязную землю. Докопалась до ямки, но и она была пустая... Доба вспомнила, как в ту ночь индюк кричал не своим голосом, – сразу же после этого уехал Исосхор... Она упала без чувств головой в грязь.

Доба шла медленно, тихо. Доба подошла к амбару. Он, как и все вокруг, был погружен в сон. Доба нащупала лестницу, взмахнула руками и наткнулась на перекладыны... Не прошло и минуты, как она была наверху. Там она нашарила отставшую доску. Комок подкатил к горлу, она еле удержалась на лестнице. Собрав последние силы, Доба пролезла на чердак. Она почувствовала запах сушившихся здесь когда-то табачных листьев, конских шкур и дыма. Что-то крошилось и осыпалось под ногами. Согнувшись, Доба ползла вперед на четвереньках, шарилась руками. Юбка задела за что-то острое и разорвалась. Доба изо всех сил закусила губу.

Достала спички, огонек вздрогнул, заколебался, но все же разгорелся синевато-красным острым язычком. Теперь Доба видела справа печную трубу, над головой были протянуты веревки. Она подобрала и зажгла длинную щепку, подошла к трубе и опустилась на колени. Снова к горлу подкатил комок. Искривленными пальцами она разрыла набросанные здесь кукурузные початки, стебли, щепки, сгнившие листья. Нет, это не то. Надо по ту сторону трубы... Но и там нет. С ума она, что ли, сошла? Вон здесь, в углу... Щепка все еще горела. Пробежала мышь – внизу, наверное, хранился хлеб... Доба разрыла мусор и добралась до ямки. Здесь!

Она опустила в ямку дрожащие пальцы, пошарила и вдруг нащупала чулок, в котором было спрятано золото... Вот оно! Битком набито!.. Она вытащила руку, в другой держала горевшую щепку... На ладони у нее лежала дохлая крыса с отъеденной головой...

«Зайвелева работа... – мелькнуло у нее в голове. – Родной брат... Кроме Зайвля, ни одна живая душа не знала об этом...»

Опять Доба лишилась чувств. Горевшая щепка выпала из рук на сухие стебли и листья...

Тревожно звонили колокола на колхозном дворе.

– Наш хлеб горит! Наше золото!.. – кричал рослый, широкоплечий парень с растрепанными волосами, указывая на амбар.

– Золото... Труд наш горит!..

– Наш хлеб!

Знали одно: надо снять крышу, покуда огонь не пошел вниз. Надо спасти хлеб в амбаре.

Навер ху, в пламени и клубах дыма, колхозники с топорами в руках боролись с пожаром.

Когда крышу разобрали – потолок остался цел, зерно почти не было повреждено, – возле развалившейся печной трубы нашли обгоревшее, залитое водой тело женщины. Неподалеку от тела валялась тлеющая крыса...

* * *

Все было нормально: 1935 год, посрамление и гибель того, кто держится за золото, торжество тех, кто считает золотом коллективный хлеб, а еще лучше труд, – и все-таки Бенцион Шамир теперь мог дышать свободнее, свободнее улыбаться и кивать Доре Соломоновне, а потом и с чистой душой отлучиться в музейный туалет – и даже без конспирации потянуть медную проволоку в музейном сливном бачке. Ибо в рассказе была и кое-какая жизнь, и кое-какое ее преображение. Это уже не было беспросветное царство

ординарности – там было много ненужного, индюк какой-нибудь с полузакрытыми глазами старика, и в этом уже ощущалось дыхание поэзии.

Следующий рассказ назывался «Шлема и Шамиль»: маленький еврейчик, местечковый портной Шлема, чудом избежавший расстрела за попытку дезертировать к своей обожаемой Мирл и ребенку, которого он так и не видел, и осетин Шамиль, суровый, как горы его родины, ехали рядом на влюбленных друг в друга гнедой кобыле и черном как смоль жеребчике. Шамиль тоже тайно, но братски нежно любил Шлему, однако Шлема побаивался Шамиля, а потому и недолюбливал его, наслушавшись про горцев страшных историй, да к тому же постоянно чувствуя на себе его взгляд из-под сердитых черных бровей.

И вот однажды ночью их кавалерийская часть подошла к тому самому местечку, куда так стремилось сердце Шлемы...

Двоих послали в разведку – на хутор и в местечко. Это были Шамиль и Шлема.

Взошло солнце. Туман рассеялся. Стал виден лес вдаль. Шлема вдруг схватился за висевшую на поясе единственную гранату.

Шамиль остановил его.

– Она тебе пригодится позже! – крикнул он. – Что ты хочешь делать?

Шлема оставил гранату и схватил Шамиля за руку:

– Шамиль! Если бы ты пришел туда, в эту... Как ее зовут? В Осетию. И увидел бы – твое солнце восходит меж гор. А в горах где-то ждет тебя жена... Разве ты не схватил бы последнюю гранату, не швырнул бы ее так, чтоб услышали горы и чтоб знала твоя жена... Ведь сердце может разорваться! Не правда ли, Шамиль?

Возле леса на холме меж двух глубоких оврагов раскинулся хутор. В овраге змеился ручеек, в котором плескались гуси. На крыше одного дома стоял долговязый аист. Шамиль накинул на плечи Шлеме свою бурку и поскакал к местечку. Шлема привязал коня к дереву и боковой тропой направился к хутору. Он условился с Шамилем, что если на хуторе он никого не застанет, то воткнет в крышу одного из домов длинную жердь. В этот дом Шамиль должен будет заехать, когда вернется из местечка.

Шлема вошел в брошенный сад, огороженный полуобвалившимся плетнем. Шлема пополз вдоль плетня. Он занозил себе колени и почувствовал сильную боль. Вдруг, проползая между двух ореховых кустов, он услышал чьи-то голоса и припал к земле. Прошли две стройные девушки в вышитых рубахах, с коромыслами на плечах.

– Кто тебе сказал? – спросила одна.

– Мой Гриц...

– Ах, вот когда будет веселье! – рассмеялась первая и спросила: – А что он тебе вчера подарил?

– Сережки, настоящие, серебряные! А Иван тебе что?

– Колечко из чистого золота. Иван говорил, что он его снял с одной жидовки...

Шлему охватил ужас. Что стало с Мирл и с ребенком? – сверлило у него в голове. Кто знает, живы ли они? Снова послышались голоса. Он опять притаился. Прошли две старые крестьянки в подоткнутых юбках, согнувшись под тяжестью ведер.

– Ох, Параска, были бы мы молодые...

– Молодые все у них вытягивают, что те заберут в городе.

– Разве что в городе... Евреев теперь нет.

– Есть евреи...

– Кто?

– Никому не говори... Их тоже жалко... У Степанихи...

Крестьянки скрылись. Шлема вылез из своего укрытия и помчался по хутору. Он хорошо знал, где живет Степаниха. Не одно платье сшил он ее дочерям.

«Мирл!» – кричало все его существо.

Войдя во двор Степанихи, Шлема первым делом взобрался на крыльцо и воткнул в крышу длинную жердь. Потом вошел в сени. Сразу ударило запахом куриного помета и

соленых огурцов. Он отворил дверь и увидел чистую пустую комнатку с единственным окошком. Под иконами светилась лампада. Висело холщовое полотенце с вышитыми птицами. На пороге показалась Степаниха. Она вскрикнула и тут же исчезла. Он услышал, как она кричала:

– Ратуйте! Солдаты! Красные!

И вдруг полог, как от сильного ветра, отлетел, и в белом шелковом подвенечном платье его жены Мирл – Шлема сразу узнал его – выскочила в комнату испуганная дочь Степанихи... За ней, широко распахнув руки, вышел красный от возбуждения петлюровец. Шлема сорвал с пояса гранату. Он вспомнил о Шамиле. «Вот тут она мне пригодится!» Петлюровец высадил стекло и выпрыгнул на улицу. Дочь Степанихи визжа выпрыгнула следом за ним. Шлема отступил к дверям. Из-за полога вышел второй петлюровец. Шлема поднял гранату, второй петлюровец, как и первый, подскочил к окну. От страха и спешки он застрял в нем. Но через минуту его уже не было.

Думая, что здесь находится целый отряд, что сейчас выскочат еще петлюровцы, Шлема отошел к самой двери и быстро сорвал кольцо с гранаты. И в эту минуту подошла к нему Мирл с ребенком на руках. Ребенок спал и держал ручонку на ее обнаженной груди. Между розовыми пальчиками билась голубая жилка. Шлема видел Мирл, словно в тумане. Хотел крикнуть, но не мог... Может быть, все это ему кажется? И вдруг он вспомнил, что у него в руках смерть всех этих людей и его собственная!

Мирл его узнала и вскрикнула. Ребенок проснулся и посмотрел прямо на него. Шлема, ничего не понимая от ужаса, приготовился бросить гранату в окно, но в эту минуту в окне возникла фигура Шамиля. У Шлемы потемнело в глазах. Мирл испугалась всадника и бросилась к Шлеме. Он хотел ей крикнуть, кинулся к дверям, но в это время граната, стукнувшись о дверь, взорвалась.

... И когда в Биробиджане простодушные люди спрашивали Шамиля, что он, сын гор, делает в этом еврейском крае, Шамиль всегда отвечал:

– Я здесь за своего брата. Он был еврей.

* * *

Дора Соломоновна любовно смотрела, как Бенци читает, а он, отрываясь, так же любовно и, можно даже сказать, все более отечески кивал ей несколько раз подряд, а потом снова принимался за чтение.

И это было вроде как и неплохо: гражданская война, теплушки с ранеными, на темном полу Пелагея и забинтованный Лейба...

Вдруг где-то стреляют.

Кажется, что на тысячи кусков раскалывается небо и тысячи огненных ран растекаются по небу кровавыми потоками и застывают.

Стрельба затихает.

Раны на небе затягиваются и блекнут. Вот уже и город с черными, торчащими, как отмороженные пальцы, трубами. Когда поезд подходит ближе, эти трубы кажутся длинными, обезглавленными шеями, задушенными черными бусами ворон... На развороченном шоссе лежат гниющие трупы лошадей.

И сразу же после этого сын Лейбы и Пелагеи, остроплечий Ленчик, в том же самом, но уже отстроенном городе катается на трамвайном буфере, швыряет осенние листья в кипящий асфальт, и лишь одна забота томит его сердце: завод, на котором работают его геройские папа и мама, уже второй месяц не выполняет план, и его лучшие друзья дразнят Ленчика «Ленька-черепаха». И против правды не попрешь: на больших щитах, развешенных по городу, в школе, в отряде, другие заводы изображены в виде самолета, корабля, паровоза, автомобиля, а мамин и папин завод – в виде черепахи...

Ленчику стыдно... Он приходит домой с претензиями.

– Папа, у вас уже второй месяц прорыв... Мне стыдно перед товарищами в школе и в отряде.

– Помнишь, мама, – обратился он к матери, – ты рассказывала, как вы брали город... Здесь тогда целая дивизия белых стояла. А вы были голодные, босые, шли по холодному и скользкому болоту, пулеметы на плечах таскали... И все-таки шли... А теперь... почему же?

И Ленчик вопросительно смотрит на родителей.

Те переглядываются и опускают глаза:

– Ничего, Ленчик. Все будет в порядке... Но сейчас передовая проходит на новом рубеже – на Дальнем Востоке, в Биро-Биджане, а здесь справятся и без нас. Мы и сейчас красногвардейцы пятилетки!

* * *

Бенци снова поймал на себе взгляд Доры Соломоновны и вновь отечески покивал ей. Все это было не так уж плохо, один старик на заводе, где ставился вопрос о социалистической контракции, был даже и недурен с его непримиримыми глазами и добродушной улыбкой:

– Крепостное право-то еще до моего рождения отменили...

А бывший сапожник Хаим и бывший бакалейщик Мойше-Лейб его уже прямо-таки умилили: когда-то в забытом местечке они ссорились из-за долга Хаима бакалейной лавке, а теперь в биробиджанском колхозе, в ночном, они по-братски сидели у костра.

Мойше-Лейб поднялся – захотелось курить, а табаку не было.

– Дай закурить, – сказал он Хаиму.

Тот пододвинул к нему жестяную табакерку.

– Спасибо. Бумага у меня есть.

Мойше-Лейб достал из кармана длинный лист, поднес его к огню посмотреть. Это была страница из старой прихода-расходной книги. Над двумя длинными колонками фамилий и названий товаров значилась размашистая надпись: «В долг».

Мойше-Лейб стал было разглядывать записи, но сказал себе: «Чепуха!» Согнул листок пополам, чтоб оторвать, но над линией сгиба вдруг увидел:

Хаим – сапожник – 1/2 фунта рису.

– 1/4 подсолнечного масла. – 3 селедки.

И вспомнилось все, как если бы это произошло сейчас... Будний день. Склонившись над прилавком, он листал свою книгу. По ту сторону прилавка стоял сапожник Хаим. Он пришел расплачиваться и попросил показать, сколько за ним значит. Мойше-Лейб нашел нужную страницу, показал записи. Хаим водил большим пальцем по строчкам, но вдруг поднял голову и вонзил в Мойше-Лейба свои косые колючие, как острые гвоздики, глаза:

– Неправда! Не три селедки, а две! Отлично по мне, это было в прошлый четверг. Жена принесла две селедки – именно две! – и я ей сказал: «Зачем тебе понадобилось две, мало одной на ужин?» И она мне ответила: «Пускай одна останется на завтра... Ведь дети... Завтра снова ходить... Взяла сразу две...» Слышите, две! Не три, а две!

Мойше-Лейб косится на Хаима. Тот все еще сидит, обняв руками колени. Снова разглядывает запись.

Отчетливо написано – «три...». Мойше-Лейб чувствует, что лицо у него пылает – вероятно, от костра... Он отворачивается, берет охапку соломы и бросает в огонь. Пламя выхватывает из тьмы качающиеся колосья и среди них – силуэт лошади.

– Буланый! – Мойше-Лейб вскакивает с места, бежит выгонять лошадь из хлебов, обронив второпях листок. Бумага осталась в освещенном кругу, подрагивая краем, будто тянулась к огню. Потом ветерок подхватил листок, пододвинул к костру. Там бумагу подхватили, словно пальцами, два недогоревших прутика. Она перевернулась, на секунду прикрыла пылающие ветви и вдруг вся вспыхнула.

И Хаим бросил в огонь картофелину: пусть Мойше-Лейб поест, когда вернется.

* * *

Ну и что – ведь и в самом деле частная собственность разобщает людей, а совместный труд сближает, в оправдание Мейлеху и себе самому подумал Бенци, хотя еще час назад прекрасно знал, что сближают людей лишь общие сказки, а общий труд в Ерцеве рождал лишь взаимную ненависть. Однако ему уже почему-то не хотелось об этом помнить. А хотелось умилиться душой над наивной любовью бригадира трактористов, белозубого паренька Мишки, и черноволосой Фани, секретаря комсомольской ячейки. Они страстно тянулись друг к другу, но их разделяло соперничество колхозов, которым они принадлежали: Мишка болел за свой колхоз «Ройтер Октябрь», а Фаня за свой – Калининдорф. Кто вывезет первый воз на элеватор – вот что стояло на карте! Поражение в таком споре невозможно было простить даже любимому.

И вот наступил решающий день – оба колхоза ринулись убирать урожай. Что делать, ко му желать по беды?.. Колхозу им. Монгекки или колхозу им. Капулетти?.. И Мишка великодушно решил бежать в Калининдорф, чтобы предложить соперникам мировую: вывезти оба воза одновременно. Но та же спасительная мысль в этот же миг явилась и Фане (к Фане Бенци испытывал особенно нежное чувство). И она бросилась навстречу Мишке, не зная, что Мишка бежит навстречу ей.

Внезапно стемнело. Низко над землей повисла неизвестно откуда взявшаяся черная туча. Упали первые тяжелые капли дождя, оставляя следы на белом Фанином платье. Налетел прохладный ветерок, зашелестел испуганно колосьями. Из-под ног выскользнули две ящерицы и тут же исчезли. Черную тучу над головой расколо молнией, и гром расколол небо. Начался ливень, и Фаня мигом промокла в своем тонком платье. Согнувшись, она пустилась бежать. От дождя захватывало дыхание, навстречу хлестали, перекатываясь через колосья, водяные потоки.

В полуверсте от колхоза «Ройтер Октябрь» на склоне холма, заросшего высокой рожью, она вдруг наткнулась на Мишку. Глаза его радостно сверкнули. Прозрачные капли стекали по его лицу. В руках он держал башмаки.

– Куда бежишь, Фаня? – изумленно воскликнул он и добавил, понизив голос: – Ты же мокрая, как рыбка, Фаня!

И продолжал:

– Пропал, Фаня, наш первый день. Я шел, – заговорил он смущенно, – чтобы сказать... Чтоб мы... значит...

Он умолк, но, собравшись с духом, выпалил:

– Чтобы выехать вместе... Мы же подготовились одинаково. Скажешь – нет?

Он выжидательно глядел на нее. Она не отвечала. Опустив глаза, она крепко прикусила губу.

Он стоял с опущенной головой и ошипывал мокрый колосок.

И тут они увидели радугу, которая сияла над степью всеми семью цветами.

Радуга показалась им разноцветным рукопожатием, которое соединило их родные колхозы.

Он быстро схватил ее, совершенно мокрую, под мышки и поднял на руках, прижимая к себе. Потом опустил ее и, пока она не успела коснуться земли, крепко поцеловал.

– Какой противный дождь! – тихонько промолвила она.

– Какой чудесный дождь! – громко и радостно воскликнул он и крепко обнял ее.

Радуга все светлее сияла на небе, поднимаясь все выше над юношей и девушкой, над степью и над людьми, утонувшими в золоте полей.

* * *

Ну, а что? Могло быть и так. Почему бы не быть и американскому писателю, который проводил дни в славе и самодовольстве, а потом почувствовал, что в мире появились новые веяния, о которых он ничего не знает. Но без ко т о р ы х он уже не мо жет быть писателем.

Новая мечта шла из Советской России, и Кеслер понял, что должен там побывать. И увидел людей, которые поглощены своим делом, а на его американский костюм и кожаные чемоданы смотрят с насмешливым сочувствием.

Чувство впустую прожитой жизни особенно обострилось у Кеслера в Биробиджане: вокруг высились стройки, сопки, и Кеслер понял, что всю жизнь надо начинать сызнова.

Ну, так и что – человек, оставшийся без сказки, неизбежно будет завидовать чужому счастью, которое можно обрести только в коллективной фантазии.

Бенци посмотрел на дату написания – 1937.

И он с особой отеческой нежностью покивал Доре Соломоновне, светящейся сдержанной материнской гордостью. А затем отправился на свидание с большой семьей Берла Пружанского – от деда Эфраима с его белоснежной бородой до десятилетней Голды с ее черными косичками, торчащими в разные стороны, как будто они поссорились.

Биробиджанская семья собирала посылку для бойцов Красной Армии, которая гнала врага от советских границ у озера Хасан.

Чего только не было в посылке! Каждый член семьи Пружанских посылал вещь, уверенный, что он один и больше никто в мире ее не посылал. О ней думали не одну ночь, потому что это должна была быть вещь, лучше которой и представить себе нельзя...

И только одна Голда – девочка с черными косичками и с большими черными глазами, готовая вот-вот расплакаться, – бродила по дому, не зная, какой подарок будет лучше всех других подарков в мире.

Послать свою куклу? Но на что бойцу кукла? Купить что-нибудь, но что? Ведь уже нет ничего такого, чего бы не посылали ее старшие братья и сестры.

И вдруг девочка выбежала из комнаты и через несколько минут вернулась раскрасневшаяся и счастливая. Все с любопытством обернулись к ней и увидели у нее в руках кусок красной материи. Она его аккуратно сложила и стала укладывать в ящик.

Прошло немного дней. Красная Армия отогнала врага от озера Хасан и окружающих его высот. Из газет весь мир узнал об этом, узнала и семья Пружанских, в том числе и десятилетняя Голда.

А потом оказалось, что один из советских бойцов под градом пуль добрался до вершины сопки и водрузил на ней красное знамя. И знамя это, пробитое пулями, так и осталось на вершине.

Велика была в те дни общая радость. Но ничью радость нельзя было сравнить с радостью Голды. Она побежала к учительнице, к товарищам и подругам.

– Знаете? Слыхали уже? Там на горе красное знамя. И знаете, чье? Мое!

Но вечером Голда пришла домой хмурая, грустная и молча забила в угол.

– Но скажи мне, – не отставала мать, – где ты была?

– У Зямы, – пробормотала Голда, не выдержала и расплакалась: – Зяма говорит, что знамя... Знамя там, на горе... что оно вовсе его, Зямино... а не мое. Он говорит, что тоже послал красную материю, даже еще больше, чем моя.

Мать успокоила девочку: Зяма просто врунишка и больше ничего.

Через минуту она убежала из дому сообщить об этом подружкам. Но что такое? Когда она начала рассказывать о знамени своей подруге Мире, оказалось, что та уже все знает. А когда Голда сказала, что знамя на горе ее, Мира просто расхохоталась ей в лицо. Потому что она, Мира, оказывается, тоже вложила красную материю, и не простую, а бархатную...

– Какое же знамя поставят на таком месте? – сказала Мира. – Ясно, бархатное...

В таком случае, чье же все-таки знамя поставил советский воин на той горе: ее, Голды, Зямы или Мира? И тут Голде пришла в голову мысль: спросить у деда. Он все знает. Как он скажет, так, значит, оно и есть.

Дедушка хитровато улыбнулся в густые свои усы.

– Так вот, – сказал дед, легонько щелкнув ребят по носам, – знамя, которое поставили там, на горе, будет нашим общим знаменем!

* * *

А потом Бенци долго топтался с каким-то тусклым Гершлом у какой-то тусклой двери, вернувшись с тусклого фронта и не решаясь войти к своей тусклой жене... Гершл вдруг по думал, что жена за эти годы постарела, и даже попытался представить себе морщинки, которые легли возле ее продолговатых черных глаз...

Но чудо – чем дольше Бенци пребывал среди этой тусклости и ординарности, побрызганной третьесортным советским сиропом, тем более нормальным он все это ощущал – и тусклость, и ординарность, и слащавость. Он даже умилился вместе с немолодым папой, дожидавшимся поезда на ночном биробиджанском вокзале вместе со своим маленьким сынишкой.

– Мне жарко! – пожаловался сын, и мы вышли на площадь.

Тут-то, как будто впервые, я увидел фонтан. Вернее, первым увидел его сын.

– Папа, фонтан говорит? – вдруг обратился он ко мне.

– Как говорит? – не понял я.

– Ну, говорит! – В его голосе послышалось раздражение: до чего несообразительны эти взрослые!

Я вслушался – фонтан и правда что-то бормотал.

– А сегодня ты мне не рассказал сказки, – вспомнил Володя, когда мы остановились у фонтана.

Мы присели на ограду.

– На этом самом месте, где мы с тобой сидим, – тихо сказал я, – когда-то была тайга.

– Давно?

– Не очень. Лет тридцать тому назад. Приехали люди с лопатами, топорами, машинами.

– А какие машины?

– Тракторы, грузовики.

– А «Москвичи» и «Волги» были?

– Нет, «Москвичей» и «Волг» не было. Тракторы были – не гусеничные, как теперь, – колесные, маленькие. Грузовики засасывала тайга. Стали тайгу корчевать. Жили в палатках. Комары и мошкара донимали, но люди работали. Вырубили лес, проложили дороги, стали строить город.

– Здесь, где мы сидим, тоже палатки были?

– Были. А вокзала не было вовсе и этих домов вокруг.

– И фонтана?

– И фонтана...

Сын помолчал, смешно наморщив выпуклый лобик под рыжей челкой. В мозгу его шла напряженная работа.

– А есть еще места, где ничего-ничего нет – ни домов, ни дорог?

– Есть.

– Когда я вырасту, буду там строить.

– Будешь, обязательно будешь.

– А разве сказки бывают правдой?

– Бывают.

Что вчера было сказкой, сегодня становится былью.

* * *

Дата написания указывала на то, что автор едва-едва успел выбраться из лагеря. Но эта готовность забыть все ужасы и несправедливости уже казалась Бенциону Шамиру исключительно благородством и великодушием.

Дора Соломоновна, словно внимательная хозяйка, видя, что его тарелка опустела, тут же подложила новое блюдо. Книжка была тоже не из толстых, в мягкой обложке с какой-то удручающе ординарной советской символикой, не политической, трудовой, но Бенци уже не видел в ординарности ничего неординарного: все нормально, а как же еще?

Дора Соломоновна причитала, до чего трудно было опубликовать книгу, в которой герои носят еврейские имена, но между тем люди как люди, и Бенци проникновенно кивал ей, действительно испытывая все более глубокое понимание.

* * *

И погружение.

Весь состоящий из готовых блоков, а потому не имеющий ни цвета, ни запаха беззвучный неосязаемый поезд якобы мчался, а на самом деле бесконечно тащился среди таких же бесплотных скал, равнин, рек и озер, влача в своем невидимом чреве лишенных каких бы то ни было качеств, обладающих одними лишь именами, должностями и фамилиями артиллерийского капитана Лагутина, выпускницу московского фармацевтического техникума Лену Симонову, бухгалтера Гнесина, гидролога Василия Петрова, грациозную и жизнерадостную Зинаиду Семеновну Звягину и беременную на сносях Мирру Ефимовну Зильберг, которая направлялась в Биробиджан к мужу, инженеру-электрику, посланному туда на работу полгода назад после окончания политехнического института.

Мирра Ефимовна вполне могла бы родить и в Москве, но они с мужем хотели, чтобы их сын был не просто жителем, но именно уроженцем Биробиджана – чтобы Биробиджан сделался его родиной в самом точном значении этого слова. Бесполье мужчины произносили лишенные какой бы то ни было неповторимости слова, не выходя из ординарнейших стандартов, монотонно ухаживали за легкомысленной Зинаидой Семеновной, однако ее успех был полностью отравлен той рыцарской почтительностью, которую все они при каждом удобном случае выказывали Мирре Ефимовне – отнюдь не выказывая ничего подобного по отношению к вертихвостке Зинаиде Семеновне.

И вот Биробиджан уже на носу, но и младенец не дремлет, он рвется наружу, – чья возьмет? Все перепуганы, где-то в поезде разыскивают доктора, доктор тоже благоговеет, но Мирра Ефимовна так быстро родить не желает, ей нужно дотянуть до Биробиджана... И в конце концов она берет верх – ее выносят на носилках под фонари, муж бросается к ней – и это последнее, что видит Зинаида Семеновна: поезд трогается, и она начинает безутешно плакать о том, что впустую растратила жизнь в суетных удовольствиях...

Но чудо: чем схематичнее, бесцветнее и слащавее становилась сказка, тем уютнее располагался в ней Бенци. Он нежился в ординарности, словно в теплой ванне, отечески кивая Доре Соломоновне, которая при каждой возможности поймать его взгляд приговаривала: ви не пххьедставляете, как тххудно было все это пххобить – евххэи ноххмальные льюди, евххэи ххработают, евххэи тххудятся...

Бенци кивал и кивал без малейшей фальши; ему уже легко дышалось именно в этом бесплотном бесцветном мире – кажется, погрузи его сейчас в мир той литературы, которую он привык считать настоящей, – и он задохнулся бы в чрезмерности ее густоты, словно карась, вместо аквариума запущенный в кастрюлю с борщом...

* * *

Теперь он был настолько чужд самокопанию, что даже не замечал овладевшего им небывалого простодушия. Он был настолько непритязателен, что необыкновенно уютно чувствовал себя на подбитом стуле за душевным разговором о том, что быть щедрым хорошо, а скупым плохо, что справедливым быть хорошо, а антисемитом плохо, и желтоватая вода с парой черных соринки представлялась ему настоящим чаем, пожухлые бумажные занавеси на стенах – обоями, переливающийся китайский «адидаас» – пижамой, а разномастные чашки с отбитыми ручками – чайным сервизом. Ему уже и написать хотелось что-нибудь простое, бесхитростное, общедоступное, назидательное... Какой-нибудь, скажем, Вечный Жид, соприкоснувшись с судьбой Мейлеха Терлецкого, обретает покой в Биробиджане – почему бы и нет, это было бы прекрасным завершением рассказа о писателе Кеслере.

* * *

И тут-то наконец его озарило: так вот как оно бывает, вот как можно в зародыше придушить певца – окружить его третьесортными образцами, и он уже никогда не создаст собственной сказки. Под тысячетонным давлением ординарности с годами плющились даже гении, а ему, Бенциону Шамиру, хватило и трех часов, – куда уж было выстоять Миле Терлецкому с его двумя классами хедера, тремя классами пятилетки и беззаветной преданностью рабочему классу! Советская власть на удивление прозорливо отсекала всех потенциальных творцов от высоких канонов и тем надежно выжгла лоно, где только и могла родиться несанкционированная высокая сказка.

Миля Терлецкий не создал такой сказки. Что ж, значит, он, Бенци Давидан, сделает это вместо него. Он не умрет, пока не сочинит новую историю о Мейлехе, Берле и Бери... Бори... Биробиджане. Он перевоплотится в Мейлеха Терлецкого, каким тот мог бы стать, обладая должным образованием, то есть включенностью во всемирные бессмертные грезы. И уж тогда он сотворит пронзительно печальную и высокую сказку о несбывшейся еврейской родине, подобно матрешке, вложенной в другое, могучее и всеобщее отечество.

* * *

– Ви нье хотите посетить Милину могилу? – вернула его к реальности Дора Соломоновна.

– Да, конечно, конечно, – заторопился Бенци. – Как у вас вызывают такси?

– Што ви, это же очьень доххого...

– Ничего. Мейлех это заслужил. Извините, может быть, я сказал что-то бестактное, но я совершенно не имел в виду...

– Ничьего, ничьего, Миля тоже люббил пощутить. Подтххуньивать над своим гоххьем – это так по-евххэйски...

* * *

День клонился к вечеру. Зрелище вечернего кладбища всегда наполняло душу Бенци невыносимой тоской, но кладбище умирающее – это было что-то особенное. Облупленные и проржавевшие пятиконечные звездочки, покосившиеся, повалившиеся пирамидки в ветеранском, если так можно выразиться, квартале города мертвых пробудили в его душе образ Берла с такой осязаемостью, что он завыл бы от боли, если бы – если бы не был защищен ощущением своей высокой миссии, то есть важной роли в высокой сказке. Поэтому, хотя за грудиной и теснило, дышать он все-таки мог посвободнее, чем его свистящая спутница.

Мейлех Терлецкий был удостоен похорон в престижной «аллее». На горизонтальной мраморной плите было четко выбито его имя: МИХАИЛ ИЗРАИЛЕВИЧ ТЕРЛЕЦКИЙ. И чуть помельче – писатель. В вертикальную же стелу «в головах» была впечатана его эмалевая фотография – фотография усталого еврейского Сирано, пребывающего на небогатой пенсии. Над фотографией была высечена довольно большая пятиконечная звезда, поверх которой чья-то рука жирным мелом начертала косоугольную звезду шестиконечную, пояснив для непонятливых неумелыми печатными буквами: «ЖИД».

Шестиугольная звезда все-таки одержала верх – и как звезда манящая, и как звезда отвергающая.

Дора Соломоновна с горестными причитаниями бросилась стирать могоендовид рукавом своей обвисающей немаркой кофты (ради посещения дорогой могилы она сменила свой «адидаc» на более «парадную» форму), но Бенци остановил ее:

– Зачем? Пусть лежит под двумя звездами. Он же и хотел их объединить.

Дора Соломоновна оторопело воззрилась на него своими странно юными меж черепаших век шоколадными глазами и что-то поняла. Почти повеселев, она с нежностью погладила мраморную плиту:

– Это биххаканский мххамохх. Миля очьень гоххдился, што пххиньимал учьястие в его ххазххаботке. Он говоххил, што ньикакие дххугие каххьеххы его нье интеххьесуют.

Бенци ласково и грустно покивал ей и склонился к бираканскому мрамору, чтобы возложить на него купленные у кладбищенских ворот алые гвоздики.

Из его внутреннего кармана что-то выскользнуло и клацнуло о камень. Это был жеваный портсигар Берла.

Бенци поднял его и извлек фотографию. Удостоверяющая ее подлинность масляная печать г-на Хиляниченко оказалась долговечнее рассеявшихся в воздухе, растворившихся в воде, смешавшихся с землей билограйских евреев. Он последний пока еще мог произнести о них какое-то слово, включить их в какую-то сказку – единственное средство сохранить хоть какую-то память о них.

Бенци в последний раз взгляделся в их неразборчивые лица и положил фотографию на бираканский мрамор рядом с гвоздиками, алыми, словно новенькие пятиконечные звездочки. А затем протянул портсигар вдове-хранительнице:

– Дора Соломоновна, это дар вашему музею от всех евреев, кто мечтал обрести здесь родину, но сгинул в пути. Я потом вам расскажу, что это за портсигар.

Дар сгинувшего мечтателя умирающему музею – это сильно. И, стало быть, завещание Берла можно считать исполненным.

А вот самому ему, Бенци Давидану, завещать свое дело было некому. Приходилось полагаться на себя.

Но он ничуть не сомневался, что все успеет довести до конца. Покуда он будет проживать разворачивающуюся сказку, смерть ему не страшна. Если даже он немножко и умрет, все равно он не обратит на это внимания.

Дыхание по-прежнему оставалось стесненным, но это уже скорее от азарта, от предвкушения в ближайшие же часы погрузиться в чарующий дурман, в низкое наслаждение преображать ужас и безобразие в высоту и красоту. На год-полтора этой дозы хватит, а какой баловень судьбы станет заглядывать дальше!.. Биробиджан, страна слияния двух звезд, и вправду оказался животворным источником для износившегося польского еврея.

Все-таки родина есть родина, Сион есть Сион, если даже он декретный. Может быть, так и назвать: «Декретный Сион»? Или все же лучше не декретный, это плохое слово, а пролетарский? Или красный? Как оно на слух – «Красный Сион»? Ну-ка, еще раз: «Красный Сион». «Красный Сион».

Вроде бы неплохо...

В романе использована проза биробиджанского писателя Бориса Миллера.